

ПИТЕР, АКРОЙД

the crags and caverns of my native region; when the wind swept away the smoke of the forests, the woods of pine and oak were filled with the sound of the wind, and there seemed to haunt the upper air the voice of such beauty. In these moments the ebb of the tide ebbed away. I felt as if I were in the heart of the universe, as if I were the infant of the world, and that the infant of the world was in the heart of the world.

ЖУРНАЛ ВИКТОРА ФРАНКЕНШТЕЙНА

Питер Акройд

Журнал Виктора Франкенштейна

«РИПОЛ Классик»

2008

УДК 821.111
ББК 84(4Вл)6

Акройд П.

Журнал Виктора Франкенштейна / П. Акройд — «РИПОЛ
Классик», 2008

ISBN 978-5-386-10769-7

Крупнейший писатель современной Британии Питер Акройд (р. 1949) создал собственную версию сюжета Мэри Шелли о чудовищном монстре, порождении разума безумного ученого. В новом прочтении классического мифа напряженность фабулы сочетается со скрупулезно воссозданным историческим фоном.

УДК 821.111
ББК 84(4Вл)6

ISBN 978-5-386-10769-7

© Акройд П., 2008
© РИПОЛ Классик, 2008

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	11
Глава 3	18
Глава 4	24
Глава 5	32
Глава 6	41
Глава 7	48
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Питер Акرويد

Журнал Виктора Франкенштейна

Глава 1

Я родился в альпийской части Швейцарии; отцу моему принадлежала немалая часть земель между Женевой и деревушкой Шамони, в которой и обитало наше семейство. Первые мои воспоминания – о блистающих вершинах; полагаю, само созерцание высот рождало во мне дух дерзаний и стремлений. Горы олицетворяли собою власть и величие Природы. Ущелья и обрывы, курящиеся водопады и бушующие потоки всегда оказывали на меня очищающее действие – столь сильное, что однажды белым, сияющим утром я испытал желание воскликнуть, обращаясь к Творцу вселенной: «Охрани меня, Владыка ледников и гор! Вижу, чувствую одиночество духа Твоего среди снегов!» И, словно в ответ, с отдаленной вершины донеслись до меня треск льда и грохот лавины – громче звона колоколов собора Святого Петра в узких улочках старой Женевы.

Бури приводили меня в упоение. Ничто не завораживало меня более, чем рев ветра среди отвесных скальных громад, утесов и пещер в моих родных местах, когда ветер сметал курящуюся дымку, а музыка его наполняла сосновые и дубовые леса. Облака в тех краях словно тянулись ввысь, желая прикоснуться к источнику подобной красоты. В такие моменты собственная моя природа отступала прочь. Мне казалось, будто я растворяюсь в окружающей вселенной или же будто существо мое эту вселенную поглощает. Подобно младенцу в материнской утробе, я не сознавал различия между нею и собой. О таком состоянии, когда все проявления окружающего мира становятся «цветом на одном древе»¹, мечтают поэты. Меня же поэзией своею благословила сама Природа.

Итак, в самом раннем возрасте душу мою переполняли пылкие чувства, и воображение мое, безудержное и рьяное, способна была обуздать лишь моя склонность к занятиям и к умственной деятельности. О, как я любил учиться! Я впитывал познание, как саженец вбирает в себя воду, в росте своем непрестанно стремясь вверх. Уже тогда худшим из моих изъянов было честолюбие. Я желал познать мир и огромную вселенную без остатка. Зачем, если не для того, чтобы учиться, появился я на свет? Я мечтал о дальних звездах. Воображению моему (а я полагаю, что тогда уже понимал истинный смысл этого слова) под внешней коркой мироздания виделась пылающая сердцевина – та, что породила горы окрест меня. Я, Виктор Франкенштейн, проникну в ее тайны! В своем искреннем желании познать секреты Природы я исследую и жука и бабочку! Желание и наслаждение – возраставшие по мере того, как секреты эти раскрывались передо мною, – стоят в ряду самых ранних ощущений, какие я помню. Отец приобрел для меня микроскоп, и я, вооружившись им, наблюдал потайную жизнь мира с неописуемым интересом. Кто не мечтает о том, чтобы изучать невиданное и неведомое? Сила, которой обладают самые крохотные организмы – та, что заставляет их двигаться и сходиться, – наполняла меня благоговением.

После обучения моего в женевской школе – по кальвинистской, проповедовавшей трудолюбие и усердие системе – отец отправил меня в прославленный университет Ингольштадта, где я начал первые свои исследования в натурфилософии. Полагаю, я уже тогда знал, что пробою себе дорогу к величию. Как бы то ни было, мне всегда хотелось посетить Англию, где гальваники и биологи занимались новейшими экспериментами в области естествознания. Там

¹ Вордсворт У. Симплонский перевал. (Здесь и далее – прим. перев.)

отдавали предпочтение учебе практической. Отец мой, однако, сомневался, так ли уж благотворно влияние этой страны на воспитание во мне нравственности, но после множества моих горячих просьб и полных мольбы писем из Ингольштадта наконец смилостивился. Мне шел восемнадцатый год, когда он, после своих неоднократных предупреждений о распушенности английского юношества, разрешил поступить в Оксфордский университет.

Там-то, в Оксфорде, я и познакомился с Биши. Оба мы прибыли в наш колледж – назывался он, к вящему недоумению иностранца, Университетским колледжем – в один и тот же день. Мои комнаты располагались в юго-западном углу внутреннего двора – или, как его тут называли, дворика, – а комнаты Биши – по соседней лестнице. Увидав его в окно, я весьма поражен был его длинными золотисто-каштановыми локонами: к тому времени в моду вошли короткие волосы. Речь я здесь веду о самом начале нашего века. У Биши была манера ходить быстро, длинными шагами, однако сочеталась она с курьезной медлительностью, словно он не вполне понимал, куда стремится с подобным пылом. При ходьбе он слегка покачивался, будто от порывов ветра. Я видел его каждое утро в часовне, но мы не заговаривали друг с другом, пока не оказались рядом в зале, за одним из жалких обедов. Впечатление мое от английской кухни весьма походило на мнение отца об английских нравах.

Биши сидел подле меня, и я слышал, как в беседе с приятелем он одобрительно отзывался о «Роковом кольце» Исаака Крукендена, готической повести, написанной несколькими годами прежде.

– О нет, – сказал я. – Ради незамутненных ощущений вам следует читать романы Айзнера.

Он, разумеется, тут же заметил мой акцент.

– Вы поклонник немецких готических сказаний?

– Да, поклонник. Однако я не немец. Я родился в Женеве.

– Колыбель свободы! Вскормившая Руссо и Вольтера! Зачем же, сэр, было вам приезжать сюда, на родину тирании и угнетения?

Ничего подобного я, привыкший считать Англию источником политических свобод, прежде не слышал. Заметив мое удивление, Биши рассмеялся:

– Вы, как видно, недолго пробыли в наших краях?

– Я приехал на прошлой неделе. Однако я полагал, что данные народу свободы...

Он приложил руки к ушам:

– Я этого не слышал. Будьте осторожны. Вас обвинят в крамоле. В богохульстве. Какова, по-вашему, цена этому ладному телу, вам принадлежащему?

– Простите, я вас не понимаю.

– Тело, как утверждает власть, не стоит ничего. Его можно устранить, не затрудняя себя объяснениями и оправданиями. Понимаете ли, мы упразднили хабеас корпус ².

Речи его были мне совершенно непонятны, но он тут же переменял тему беседы:

– Читали ли вы «Погребенного монаха» Канариса? Вот это и впрямь дьявольщина, а не история!

Книгу эту я прочел месяцем ранее. Биши, к моему изумлению, принялся цитировать по памяти весь первый абзац, начинавшийся словами: «В монастыре – том, что среди простых обитателей местности звался обителью эха, – покой не наступал ни на единый час». Он хотел было продолжать, но приятель его, обедавший с ним вместе, – как я впоследствии узнал, это был Томас Хогг, – упротил его остановиться.

– Почему вы зовете это властью? – спросил его Хогг.

– Почему бы и нет?

² *Хабеас корпус* (Habeas Corpus Act) – в английском праве закон, гарантирующий право на неприкосновенность личности. Окончательно закреплен в законодательстве в 1679 г.

– Разве не следовало бы сказать «власти», а не «власть»?

– Нет. Власть более могущественна и более вероломна. Власть – некая абстрактная, непреодолимая сила. Власть абсолютна. Разве не так, советник из Женевы?

Биши взглянул на меня с приязнью и любопытством, и я, собравши все свое остроумие, отвечал:

– Будь я советником, я сказал бы вам, что Боже и бог – вещи разные.

Он громко рассмеялся.

– Bravo! Мы станем друзьями. Позвольте вам представиться: Шелли. – Приложив руку к груди, он поклонился. – И Хогг.

– Мое имя – Виктор Франкенштейн.

– Прекрасное имя. Римское, не правда ли? Victor ludorum ³ и тому подобное.

– В моем роду это имя распространено издавна.

– Франкенштейн, тут вы задали мне задачу. Вы не иудей, ибо ходите в часовню.

Я не ожидал, что он меня там заметит.

– «Штейн» – это, полагаю, глиняная кружка для пива. Возможно, ваши предки при франкском дворе занимались почетным ремеслом гончара. Вы, милый мой Франкенштейн, происходите из семейства творцов. Имя ваше должно горячо приветствовать.

К тому времени мы успели подняться из-за длинного стола и шли теперь через дворик обратно.

– У меня есть вино, – сказал Биши. – Пойдемте, составьте нам компанию.

Стоило мне войти к нему в комнаты, как я понял, что нахожусь в обиталище пылкого духа: на полу, на ковре, на столе, на каждой горизонтальной поверхности щедрой россыпью лежали всевозможного рода предметы. Были там бумаги, книги, журналы да еще – бессчетные ящики с чулками, башмаками, рубашками и прочим распаханным промеж них бельем.

Ковер, как я заметил, успел кое-где покрыться пятнами и покоробиться, что я инстинктивно приписал научным опытам. Мой взгляд не укрылся от него, и он засмеялся. Смехом он обладал безудержным.

– Аммиачная соль, – сказал он. – Пойдемте, взглянемте на мою лабораторию.

Я последовал за ним в соседнюю комнату, где в углу ютилась узкая постель. На рабочий стол он поместил электрическую машину, поначалу принятую мною за вольтовую батарею. Подле находились солнечный микроскоп да несколько больших склянок и флаконов.

– Вы экспериментатор, – сказал я.

– Разумеется. Как и пристало всякому искателю познания. Нам не Аристотеля должно читать. Нам должно вглядываться в мир.

– У меня тоже есть солнечный микроскоп.

– Неужели? Вы слышали, Хогг?

– Я уже некоторое время изучаю частицы, составляющие жизнь.

– Где же вам удалось их обнаружить?

– В воде ледников. В собственной крови. Мир полон энергии.

– Bravo! – В знак горячайшего расположения он крепко схватил меня за плечи. – Жизнь можно найти не только там – в буре!

Мне подумалось, что он собирается меня обнять, однако он, разжав руки, освободил меня. По прошествии времени я осознал, что он обладал любопытной, едва ли не сверхъестественной способностью улавливать сами мысли, приходившие мне в голову. Бывают люди, с которыми вовсе не надобны слова. Стоило ему заметить в глазах моих легкий трепет, он всегда отворачивался. Теперь же он спросил меня:

³ Победитель в играх (лат.).

– Обратили ли вы внимание на вольтову батарею? Она воссоздает вспышку молнии. Я – что Исаак Ньютон. Неотрывно смотрю на свет.

Университетским распорядком Биши открыто пренебрегал и лекций не посещал. По сути, я толком не знал, какими науками ему полагалось заниматься. Для самого же него они не имели ни малейшего значения. Существовало одно задание, что давали всем нам по очереди: еженедельный перевод очерка из «Спектейтора» на латынь. Это выходило у него с легкостью чрезвычайной – воистину, на латыни он писал столь же умело и бегло, что и на английском. Он говорил мне, что секрет в том, чтобы представить себя римским оратором первых лет Республики. Это способно было вдохнуть в него такой жар, что слова в нужном порядке приходили ему в голову сами собой. Я не подвергал этого сомнению. Его воображение подобно было вольтовой батарее, из которой рождались молнии.

Мы совершали долгие прогулки по окрестностям Оксфорда, часто вдоль Темзы, вверх по течению, мимо Бинси и Годстоу, или вниз, к Иффли и тамошней любопытной церкви двенадцатого века. Биши любил реку со страстью, равную которой мне редко доводилось видеть, и обыкновенно превозносил ее достоинства, сравнивая с неторопливым Нилом и бурным Рейном. Сперва мне показалось, что он весь – огонь, однако природе его присущи были и другие черты: текучие, податливые, изобильные, подобные окружавшей нас воде. Во время наших вылазок он нередко декламировал стихи Кольриджа о силе воображения.

– Поэт мечтает о том, что считает невозможным ученый, – сказал он мне. – То, что подвластно воображению, и есть истина. – Он опустился на колени, чтобы рассмотреть маленький цветок, названия которого я не знал. – Восхитительное состояние – стремиться за пределы, обыкновенно доступные человеку.

– Пытаясь достигнуть – чего же?

– Кто знает? Кто способен дать ответ? Великие поэты прошлого были или философами, или алхимиками. Или волшебниками. Они отбрасывали прочь телесный покров и в поисках своих превращались в чистый дух. Доводилось ли вам слышать о Парацельсе и Альберте Великом?⁴

Я взял эти имена на заметку как достойные того, чтобы взяться за их изучение.

– Мы – вы и я – должны совершить паломничество к Фолли-бридж и поклониться святыню Роджера Бэкона. Там есть дом, что некогда был, по слухам, его лабораторией. Вы знаете эту легенду? Если человек более мудрый, чем брат Бэкон, когда-либо пройдет мимо него, дом рухнет. В этом городе остолопов он простоял уже шестьсот лет. Не проверить ли нам его на прочность? Пройдем по мосту каждый по очереди и посмотрим, который из нас сотворит чудо.

– Ведь не кто иной, как Бэкон, создал говорящую голову.

– Да. Голову, которая заговорила и сказала: «Время – это». Да только говорила она на латыни. Она изучала классических авторов. Возможно, этим объясняется сопутствовавший оживлению дух.

– Но каким же образом двигались губы?

Я задавал Биши вопросы для того лишь, чтобы наслаждаться необычностью его ответов. Я совершенно убежден, что он придумывал их по мере того, как говорил; впрочем, очарования это не только не рассеивало, но, по сути, прибавляло. Я следил за мыслью его, словно за горящим во тьме светляком.

Он часто говорил сам с собою, голосом низким, невнятным. То была, вероятно, некая форма общения со своим внутренним «я», однако находились, разумеется, и те, кто подвергал сомнению его здравый рассудок. «Безумец Шелли» – таким эпитетом нередко награждали его. Я никогда не замечал никаких признаков безумия, разве что вам угодно полагать душевным расстройством обладание духом крайне возбудимым и чувствительным, отзывающимся

⁴ Альберт Великий – средневековый ученый-схоластик.

на всякую тончайшую перемену в окружающем мире. Глаза его зачастую наполнялись слезами, когда какому-либо щедрому жесту или рассказу о невзгодах другого случалось растрогать его. В этом, по крайней мере, отношении чувствительностью своею он выделялся из толпы. У него был темперамент Руссо или Вертера.

В те дни я упорнее, чем когда бы то ни было, стремился исследовать тайны Природы, отдаваясь изучению того источника, где зародилась жизнь. Мы с Биши до поздней ночи спорили о сравнительных достоинствах итальянцев Гальвани и Вольты. Он отдавал предпочтение животному электричеству синьора Гальвани, тогда как мой глубокий интерес возбуждали успехи экспериментов с вольтовыми пластинами.

– Разве вы не видите, – сказал я ему однажды зимним вечером, – что электрическая батарея – это новый двигатель, обещающий огромные возможности?

– Милый мой Виктор, Гальвани доказал, что электричество имеется в окружающем нас мире повсюду. Сама природа есть электричество. Путем простой уловки с металлической нитью он вернул к жизни лягушку. Почему бы не достигнуть того же с человеческой оболочкой?

– Это мне в голову не приходило. – Подойдя к окну, я принялся смотреть, как на дворик падает снег.

Биши лежал на диване, и до меня донеслись строчки, которые он бормотал про себя:

Счастлив, кто вечно силится понять
Природу человека, но к тому ж —
Всего живого, чтоб постичь закон,
Который правит всем ⁵.

– Знаете ли вы, Виктор, кто это написал?

– Представления не имею.

– Вордсворт.

– Один из этих ваших новых поэтов.

– Он истинный поэт. Возьмите вспышку молнии, – продолжал он. – Из всех сил Природы эта – наиболее потрясающая. В свете ее видно огненное дыхание вселенной!

– Разве возможно укротить молнию?

– Если запустить в атмосферу эдакий электрический воздушный змей, он вытянет из небес огромное количество электричества. Подумать только: весь арсенал могучей грозы, направленный в определенную точку! Способны ли вы представить себе колоссальные результаты?

– Мы порядочно удалились от простой лягушки.

– Как вы не понимаете! В самой малой вещи имеются жизнь и энергия.

– Почему бы не назвать это силой духовной?

– Какова разница между телом и духом? Во вспышке молнии они – одно. Они воспламеняются!

Должен признаться, что слова его произвели на меня потрясающее воздействие. Но Биши тут же пустился в рассуждения о путешествиях на воздушном шаре над Африканским континентом. Мысль его не способна была долго держаться одного направления. Однако, возвратившись к себе в комнаты, я погрузился в размышления о нашей беседе. Что, если с помощью бессмертной искры и вправду возможно вселить жизнь в человеческую оболочку? Не сочтут ли это дьявольщиной? Данное соображение я отринул. Нет. Те, кто не верят в человеческий

⁵ Вордсворт У. Прогулка.

прогресс, любые успехи в электрической науке заклеят как чуждые религии. Сумею я поставить эфемерное пламя на службу делам практическим и полезным, я полагал бы себя благодетелем рода человеческого. Более того – меня сочли бы героем. Вдохнуть жизнь в вещество мертвое или спящее, осенить простую глину огнем жизни – то был бы триумф замечательный и достойный восхищения!

Так я устремился навстречу своей гибели.

Глава 2

Итак, я предавался своим занятиям с пылом великим и, полагаю, доселе не виданным: ни одному зилоту или ессею не доводилось охотиться за истиной с большим рвением. Тем не менее вечерние мои споры с Биши, все столь же оживленные, продолжались. Он страстно мечтал об упразднении христианства, поклявшись отомстить тому, кого называл «бледным галилеянином», однако ярость его целиком предназначалась всеведущему Господу, которого славил пророки. Хотя образованием своим я обязан был женевской реформаторской Церкви, религия отца и семейства моего не оказала большого влияния на мой разум. Я давно утвердил в положении бога саму Природу, однако прежнюю мою веру в некоего Творца вселенной Биши успел поколебать тем, что отрицал само существование вечного и всемогущего существа. Это божество почитали как создателя всего живого; но что, если и другие, обладающие природой менее возвышенной, способны совершить подобное чудо? Что тогда?

Следуя заповедям разума, Биши доказывал, что Бога нет. Он утверждал, что единственное средство, позволяющее преследовать главные интересы человечества, – истина. Открывши истину, он долго своим полагал провозгласить ее со всей возможной страстностью. Заявлял он также, что, поскольку верование есть страсть рассудка, неверие ни в малейшей степени не может быть связано с преступными намерениями. Как он осознал довольно скоро, говорить так – значит пренебрегать основными предрассудками английского общества. Он написал короткий очерк под названием «О необходимости атеизма», который был напечатан и выставлен в книжной лавке на главной улице, напротив колледжа. Не успело сочинение простоять на полке и двадцати минут, как один из членов совета колледжа, мистер Гибсон, прочел его и набросился на хозяина лавки с попреками – зачем тот представляет на всеобщее обозрение столь опасную литературу. Все экземпляры тут же были убраны и, полагаю, сожжены в печке на задворках дома.

Авторство анонимного памфлета вскорости было установлено по сведениям, полученным от самого книгопродавца, и Биши призвали на собрание совета колледжа. Как он рассказывал мне позднее, перед ректором и членами совета лежал экземпляр «О необходимости атеизма». Однако на вопросы их он отвечать отказался на основании того, что памфлет опубликован был анонимно. Принуждение его к даче показаний в отсутствие законной причины, заявил он, явило бы собой акт тирании и несправедливости. По натуре Биши был из тех, что вспыскивают при малейшем притеснении. Его, разумеется, признали виновным. Покинув собрание, он тотчас же направился ко мне и забарабанил в мою дверь.

– Меня отсылают, – сказал он, как только вошел в мои комнаты. – Виктор, меня не просто временно отчислили – исключили! Способны ли вы в это поверить?

– Исключили? С какого числа?

– С сегодняшнего. С этого момента. Более я в университете не состою. – Он сел, весь дрожа. – Представления не имею, что скажет мой отец.

Об отце своем он всегда говорил с выражением сильнейшего беспокойства.

– Куда же вы направитесь, Биши?

– Домой возвращаться невозможно. Это было бы слишком тяжелым испытанием. – Он взглянул на меня. – К тому же мне не хотелось бы надолго лишаться вашего общества, Виктор.

– Вам годится лишь одно место.

– Я знаю. Лондон. – Он вскочил со стула и подошел к окну. – Я несколько недель как состою в переписке с Ли Хантом. Он знаком со всеми революционерами в городе. Я буду жить в их обществе. – К нему, казалось, уже возвращалось присутствие духа. – Тянуться к солнцу свободы! Я найду квартиру. И вы, Виктор, должны отправиться вместе со мной. Поедете?



Дождавшись конца триместра, я последовал за Биши в Лондон. Он нанял квартиру на Поланд-стрит, в районе Сохо, а я нашел комнаты поблизости, на Бернерс-стрит. Я уже был в Лондоне однажды, когда только приехал с родины, но стоит ли говорить, что размах жизни этого города поражал меня до сих пор. Никакой альпийской буре, никакому горному потоку среди ледников, никакой лавине среди вершин ни на йоту не передать городского шума. Никогда прежде не выдавши такого множества людей, я бродил по улицам в постоянном возбуждении. Какою силой обладают жизни людские в совокупности! Город напоминал мне своего рода громадный электрический механизм, что гальванизирует людей, богатых и бедных без разбору, гонит свой ток по каждой улочке, переулку и проезжей дороге в такт пульсации жизни. Лондон, словно некий туманный фантом, шествующий по миру, казался неуправляемым, послушным законам, неведомым себе самому.

Биши тем временем разыскивал приверженцев свободы и нашел их. Вместе мы посетили собрание Лиги народных реформ, устроенное в помещении над лавкой на Стор-стрит, где, к восторгу своему, услышали такие эпитеты, швыряемые в адрес членов правительства, которые должны были припечатать оных, обжечь, словно клеймом! Язык свободы пьянил меня, столь убежденного в том, что старому порядку, основанному на угнетении и мздоимстве, непременно должен настать конец. Пришла пора сломать устои тирании и упразднить законы, которые позволяют поработать человечество. То был новый мир, ожидающий, чтобы его вызвали к жизни, вывели на свет!

Члены Лиги, очень скоро удостоверившись в том, что мы не правительственные шпионы, но друзья свободы, или, как они стали нас величать, «граждане», сердечно нас приветствовали. Когда я признался, что я родом из Женевы, раздалось «ура» в честь «родины свободы». Спросили хлеба и пива, и всех охватило веселье. Засим последовал общий спор, в ходе которого громко провозглашались требования о ежегодных выборах в парламент и всеобщем избирательном праве. Один молодой человек по имени Пирс поднялся на ноги и заявил, что «истине и свободе в век столь просвещенный, как нынешний, должно быть непобедимыми и всесильными». Я не удержался от того, чтобы истолковать его слова в свете собственных моих исследований: возможно, истина, если стремиться к ней научным путем, также окажется непобедимой. Силе человеческого разума, правильным и справедливым образом поставленной на службу прогрессу, не существует пределов.

Слова Пирса встречены были шумным приветствием, к которому присоединились и мы с Биши. Я не мог удержаться, чтобы не сравнить этих полных энтузиазма «граждан» с праздным университетским юношеством, и уж собрался было шепнуть об этом Биши, как вдруг он, сияя взором, поднялся на ноги и объявил собравшимся, что «короли нам ни к чему». В ответ на это раздались громкие одобрительные выкрики, и несколько человек, поднявшись, обменялись с ним рукопожатиями. «Чего нам бояться? – вопрошал он. – Ежели мы не отступимся от своих принципов истины и свободы, то все будет прекрасно. Пускай же вспышка молнии ведет нас за собою!» Тут члены Лиги, взбудораженные его речами, с огромным жаром затянули песню:

Сюда, вольнолюбия верны сыны!
Сберемся, свободны, тверды и честны,
Возьмемся за руки, сойдемся дружей
И разума факел подыдем смелей!

Не знаю, вызвали ли у Биши восхищение стихи, но чувства он оценил в полной мере. Под конец собрания один из «граждан» подошел к нам и заговорил с Биши:

– Мое почтение, сэр. Надеюсь, ваше пребывание в Оксфорде не доставило вам неприятностей?

Друг мой был ошарашен:

– Откуда вам об этом известно?

– Я состою в особой дружбе с мистером Хантом. Он ведь с вами переписывается, не так ли?

– Я встречал его в Лондоне.

– Вот как? Стоило мне увидеть вас и вашего спутника, – он поклонился мне, – как я тут же признал в вас людей, исключенных из университета.

– Это мистер Франкенштейн. Его не исключили. Но он разделяет мои принципы.

– Меня зовут Уэстбрук. Я башмачник. – Он окинул залу быстрым взглядом. – Мы здесь редко представляемся по именам, опасаясь шпионов. Но вы, мистер Шелли, исключение. Вы ведь, если не ошибаюсь, сын баронета?

– Да. Но свое право по рождению – все до последней капли – я отдам на служение нашему делу.

– Превосходно сказано, сэр. Теперь же нам пора уходить. Пока нас не прервали мировые судьи. Мы научены избегать того, что зовется боевым кличем Церкви и короля.

Спустившись на Стор-стрит, мы вместе с ним остановились на углу Тотнем-корт-роуд. Уэстбрук, как мне показалось, обладал благородным складом ума. Черты лица его были тверды и, благодаря высокому лбу, близки к идеальным; одет он, несмотря на свое ремесло, был вполне прилично, волосы же, по «свободной» моде, стриг коротко и не пудрил.

– Позвольте мне отвести вас в место, где служит моя сестра, – обратился он к нам. – Это поблизости. В этом городе страдание всегда где-то поблизости. Там вы увидите врага.

Он повел нас через ту часть города, что, по его словам, звалась Сент-Джайлсом и находилась всего в нескольких улицах от места, где мы стояли. Мне она показалась местностью самой скверной и порочной, какую только возможно себе представить на этой земле. Ни один из бедных кварталов Женевы, в каком бы запустении он ни находился, не имел ни малейшего сходства с этой грязной, пришедшей в упадок частью Лондона. Улицы были не более чем дорожками в грязи либо в нечистотах; по ним ручейками бежали сточные воды из запущенных дворов и переулков. Вонь стояла неопишуемая.

– Безопасно ли здесь? – шепнул я Уэстбруку.

– Меня знают. На случай же... – Он вытащил из внутреннего кармана сюртука большой нож с костяной рукояткой и длинным лезвием. – Это то, что у французов называется *couteau secret*⁶, – сказал он. – Его не открыть, если не знаешь секретной пружины.

– Вам когда-либо доводилось им пользоваться?

– Покамест не доводилось. Я ношу его на случай, если за мной или моими спутниками поутянутся собаки-ищейки.

Из окна наверху, затянутого тряпьем, раздался вопль, за ним последовал невнятный шум ударов и проклятий, которыми обменивались стороны. Мы поспешили далее. Прежде я не ведал, что подобные безобразия, подобные ужасы могут существовать в какой бы то ни было христианской стране. Каким образом этот зловонный нароск появился в самом большом городе на земле, да так, что никто и не заметил его существования? Насколько я мог судить, мы находились всего в нескольких шагах от блеска Оксфорд-роуд, однако переулки эти походили на некую черную тень, вечно следующую за нами по пятам. Мы осторожно обошли тело женщины, лежавшей ничком, в последней стадии опьянения; ноги ее покрыты были ее собственными нечистотами. Коль скоро жизнь способна превратиться в предмет столь страшный, возможно ли, что она дело рук Господних? Я глубоко убежден в том, что, вошедши в эту лондонскую

⁶ Потайной нож (*фр.*).

преисподнюю, я окончательно избавился от остатков христианской веры. Человек не творение Господа. Так думал я тогда, нынче же я в этом уверен.

Мы вышли на открытую проезжую дорогу, ловя ртом воздух почище.

– Осталось совсем недолго, джентльмены, – сказал Уэстбрук.

Биши, едва держась на ногах, согнулся пополам прямо на улице.

– Вам нехорошо? – спросил я его.

– Не мне, – отвечал он. – Миру. Мир болен. Я самая малая часть его. – И его стошнило на углу.

Мы вышли на узкую улочку, названия которой я не заметил. Перед нами было округлой формы здание красного кирпича, весьма походившее на храм, какие посещают сектанты. Уэстбрук подошел к маленькой дверце в его боковой стене. Громко постучав, он отворил ее. Воздух внутри благоухал приятным ароматом специй, какими, по моим представлениям, балзамировали тела фараонов. Сама комната, округлая, повторяющая форму здания, была, казалось, заполнена одними лишь девушками и молодыми женщинами. Они сидели на стульях по обе стороны двух длинных столов и насыпали порошки в маленькие глиняные сосуды. Я пристально наблюдал за ними мгновение-другое – столько, сколько мне понадобилось, чтобы рассмотреть выполняемые ими операции. Вырезав из лежавшего перед ними листа кусок промасленной бумаги, они прикрывали им отверстие сосуда, а поверху клали кусок синей бумаги. Вслед за тем они привязывали бумагу веревочкой к горлышку сосуда. Быстрота и сноровка их были невероятны – ловкостью и производительностью своими они словно подражали некоему механизму.

– Вот и моя сестра, – сказал Уэстбрук. – Гарриет.

Он подошел к одной из девушек и коснулся ее плеча. Та улыбнулась, но, будучи чересчур погружена в свои труды, не подняла на него глаз. Волосы ее были заколоты и забраны под льняной чепец, не скрывая выдающейся красоты и тонкости черт. Ей было никак не более четырнадцати или пятнадцати лет от роду. Биши пришли на ум слова Данте – об этом он сообщил мне позже, – и должен сказать, что я, хотя не подал виду, и сам был ранен в сердце. Я заметил странный цвет ее лица, происходивший, несомненно, от вдыхания специй, и увидел, что пальцы ее посинели и стерты в кровь от непрерывной работы.

– Она готовит специи для богатых домов, – пояснил Уэстбрук. – По двенадцати часов ежедневно. Шесть дней каждую неделю. Она работает ради нашего семейства. На ее шиллинги покупается еда к столу. Не специи. – Говорил он с такою горечью, что сестра с беспокойством на миг взглянула на него, но тут же возобновила работу. – Не станем тебя долее отвлекать, Гарриет. Ваша надзирательница идет к нам с упреками.

К нам подошла, разводя руками, пожилая женщина:

– Послушайте, мистер Уэстбрук, негоже вам отвлекать сестру от работы. Она, как вас увидела, про свои дела и думать забыла. – Она казалась женщиной добронравной, спокойной и отнюдь не строгой к своим подопечным. – Идите себе со своими друзьями, а нас, бедных женщин, оставьте в покое.

Мы вышли из здания.

– Не мучает ли вас жажда, джентльмены? Эти специи пробирают горло. Бедняжка Гарриет часто страдает от кашля.

Мы миновали череду домишек, и он остановился, чтобы оглядеться.

– На той стороне улицы есть приличная таверна. – С этими словами он повел нас по булыжной мостовой. – Живется ей едва лучше, нежели рабыне.

– Кто ее туда послал? – спросил у него Биши.

– Мой отец. Вот мы и пришли.

Вошедши в таверну, с низким потолком и темную, как принято в Лондоне, мы спросили три кружки пива, а вслед за тем уселись за стол в углу.

– Отец мой полагает, что обязанность человечества – и женщин – в том, чтобы трудиться. Он из особых ковенантистов.

– Наихудшая из христианских сект, – заметил Биши.

– Он полагает, что женщина стоит куда ниже мужчины. Поэтому о будущем благосостоянии Гарриет он и думать не стал – повелел, что ей должно работать.

– Это отвратительно! – Биши схватил свою кружку и принялся постукивать ею по столу. Лицо его сильно покраснело, стало прямо-таки огненным, и я впервые заметил белый шрам у него на лбу. – Мыслимо ли: укротить ее, поработить, будто некое животное!

– Я умолял отца. Я указывал на преимущества, которые ожидали бы Гарриет, посещая она хотя бы дамскую школу. Но сердце его было не смягчить.

– Чудовищно. Ужасно. А вы не можете ее содержать?

– Я? Я едва способен содержать самого себя.

– Тогда я освобожу ее! – Теперь Биши загорелся энергией и страстью.

– Что вы собираетесь делать? – спросил я его.

– Пойду к ее отцу и предложу ему такую же сумму – такую же сумму, что зарабатывает она, – если он позволит ей поступить в какую-либо школу или академию. Я не успокоюсь, пока не добьюсь своего.

– Вам следует дожидаться, пока она закончит работу, – сказал Уэстбрук.

– Каждый миг – агония. Простите меня. Мне необходимо выйти на улицу.

Я проводил его до двери таверны и дал ему платок, которым он утер влагу с лица.

– Благодарю вас, Виктор. Я совсем расплавился.

– Куда вы пойдете?

– Пойду? Я не собираюсь никуда идти. – С этими словами он, к удивлению моему, принялся ходить туда-сюда по мостовой перед таверной.

Когда я возвратился к Уэстбруку, то обнаружил, что он успел спросить еще две кружки пива.

– Биши выхаживает свой гнев, – сказал я ему. – У него пылкая душа.

– Мистер Шелли горяч, как огонь. Это хорошо. Нам нужны натуры, выкованные в пламени.

– Я заметил, что здесь, в Англии, принято давать волю чувствам.

– Да – с тех самых пор, как в Париже произошла революция. Мистер Шелли прав. А вот и он. Видите – его трость покачивается у окна? Да, и мы также получили освобождение. Те события помогли создать нового человека.

– Новый тип человека?

– Вы смеетесь надо мной.

– Нет. Поверьте мне, не смеюсь.

– Теперь мы – не правда ли? – чаще даем волю слезам.

– Мне не с чем сравнивать. А, вот и Биши.

– Похоже, – сказал Биши, со смехом присоединяясь к нам, – я превращаюсь в объект внимания. На мой счет судачили.

– В этой части города вы являете собою зрелище необычное. – Уэстбрук подошел к стойке и возвратился с еще одной кружкой для Биши.

– Неужели?

Казалось, он был искренне удивлен, и мне пришло в голову, что он не сознает собственной необычности.

– Один молодой человек глаз не сводил с моей трости.

– Они все бедняки, сэр. Но ничего плохого они вам не желают. Большинство из них достаточно честны.

У Биши сделался смущенный вид.

– Простите меня. Я не собирался подвергать сомнению его честность. – Он быстро отхлебнул из кружки.

– Удивительно, – сказал я, – как они не взвоют от ярости.

– Что вы говорите, Виктор?

– Будь я вынужден вести крайне плачевную жизнь, в то время как окружающие купаются в богатстве, я жаждал бы разнести этот город в пух и прах. Я жаждал бы уничтожить мир, лишивший меня свободы. Сотворивший меня.

– Превосходно сказано. – Уэстбрук поднял кружку, обращаясь ко мне. – Я и сам часто размышлял о том, что удерживает этих бедняков в рабстве.

– Религия, – сказал Биши.

– Нет. Не это. Ничем подобным их не проймешь. Они такие же язычники, как и жители Африки.

– Рад это слышать, – отвечал Биши. – Выпьемте за смерть христианства!

– Нет, – продолжал Уэстбрук. – Дело в страхе перед наказанием. В страхе перед виселицей.

– Что им достается от жизни? – спросил я у него, начиная хмелеть от пива.

– Сама жизнь, – отвечал Уэстбрук.

– Этого, думается мне, достаточно. – Биши успел побывать у стойки и возвратиться с тремя новыми кружками. – Ценность жизни – в ней самой. Нет ничего более драгоценного.

– И все же, – сказал Уэстбрук, – вести ее можно с достоинством. И без страдания.

– Жаль, что в этой жизни подобное невозможно. – Биши поднял свою кружку. – Ваше здоровье!

– Что вы хотите сказать? – обратился к нему Уэстбрук.

– Страдание неотъемлемо от человеческого существования. Радости не бывает без боли, ей сопутствующей.

– Это возможно изменить, – произнес я. – Мы должны создать новую меру ценностей. Только и всего.

– О, так, значит, вы преобразуете природу?

– Да. Если потребуется.

– Браво! Виктор Франкенштейн создаст новый тип человека!

– Биши, вы всегда говорили мне, что мы должны находить ненаходимое. Достигать недостижимого.

– Я действительно в это верю. В этом, полагаю, мы все сходимся. И все же устранить само страдание...

– Что, если существовала бы новая раса существ, – начал Уэстбрук, – которые не чувствовали бы боли и горя? Они были бы ужасны.

Я взял его за руку:

– Но что же то место, где мы шли, – Сент-Джайлс? Разве оно не более ужасно?

Мы продолжали пить и, полагаю, сделались предметом неких замечаний со стороны клерков и мастеровых, что сидели на других скамьях. Эта часть города была более респектабельной, нежели прилегающий к ней Сент-Джайлс, однако присутствие джентльменов приветствовалось не всегда.

– Нам пора, – сказал Уэстбрук и, взяв Биши за руку, помог ему подняться с сиденья. – Думаю, мистер Шелли, визит моему отцу вам следует нанести в другой раз. Он не жалуется выпивку.

– Но как же ваша сестра? Как же Гарриет? – Биши с трудом держался на ногах.

– Уверяю вас, два или три дня ощутимой разницы не составят. Пойдемте же. И вы с нами, мистер Франкенштейн. На Сент-Мартинс-лейн я найду кеб для вас обоих.

Глава 3

Отчеты о работе мистера Хамфри Дэви, некогда попавшиеся мне в журнале «Блэквудс», я прочел с большим интересом. В Оксфорде мне удалось раздобыть выпуск «Записок Королевского общества» с его статьей, где разъяснялся процесс, посредством которого он гальванизировал kota. Два или три дня спустя по приезде в Лондон, открыв по чистой случайности выпуск «Журнала джентльмена», я увидел там объявление о курсе лекций, который мистер Дэви намеревался прочесть в Обществе развития искусств и промышленности, под названием «Электричество без тайн».

Когда, купивши при входе билет на весь курс, я пришел на первую лекцию, то, к удивлению своему, обнаружил, что зала Общества почти полна. Мистер Дэви оказался моложе, чем я ожидал, – юноша лицом, горячий и быстрый в движениях. Молодые люди в публике, положив шляпы на колени, тянули головы вперед, силясь его разглядеть. Он подготавливал какие-то гальванические батареи на столе; с другой же стороны приподнятой сцены находился цилиндрический прибор, поблескивавший в свете керосиновых ламп.

Судя по всему, мистер Дэви обладал темпераментом артистическим. Электрический ток был, по его словам, воплощением гипотезы греческих философов о том, что внутри каждой вещи заключен огонь. Он называл его искрой жизни, кометным пламенем и светом мира. «Прошу вас, не тревожьтесь, – сказал он. – Вас ничто не коснется, ничто не принесет вам никакого вреда». Вслед за тем он соединил гальванические приборы, и по мановению его руки от одного стола к другому протянулась, вспыхнув, огромная световая дуга. Две или три дамы закричали было, но смех спутников успокоил их. В целом же залу охватили великий интерес и возбуждение. Я моргнул, однако сетчатка моя сохранила вторичное изображение вспышки – я словно заглянул в самую глубь мироздания.

– Конечно, – сказал мистер Дэви, чтобы успокоить дам. – Все позади. Но воссоздавать это можно бесконечно. – В воздухе стоял легкий запах горелого или паленого. – С нами не произошло ничего дурного, – продолжал он, – ибо электричество – сила самая естественная в мире. По правде говоря, *главная* естественная сила. Мне представляется, что, подобно воздуху и воде, электричество – одна из составляющих жизни. Возможно, оно один из основных способов создания жизни. Сам по себе электрический поток бесконечно изменчив и неуловим. Он производит чудесный эффект в эфире, однако течет также и сквозь человеческое тело, беззвучно и невидимо для глаза. Доктор Дарвин – чрезвычайно разумно предположивший, что электричество, согласно области его действия, следует подразделять на стекольное и смоляное, – поместил в электрический ящик немного вермишели и держал ее там, пока она не начала двигаться самопроизвольно. Что же тогда говорить о человеческих органах? При сходных условиях с ними возможно добиться чего угодно.

Далее мистер Дэви описал любопытные опыты шотландского гальваника Джеймса Макферсона, которому Сообщество хирургов дало особое разрешение на то, чтобы он присутствовал при рассечении некоего злодея. Тело сняли с виселицы в Ньюгейте и доставили еще теплым. Повешенный, убийца собственной матери, был молод; у публики подобное использование его тела никакого отвращения не вызвало. Труп разложили на деревянном столе посередине залы. Полные рвения студенты расселись вокруг него в этом – другого слова не подберешь – операционном театре. Я почувствовал, как по спине моей поползли мурашки – мне казалось, будто я вижу все это пред собою.

Мистер Макферсон присоединил электрические провода, весьма тонкие и гибкие, к оконечностям трупа. Когда гальванический прибор был приведен в действие, тело содрогнулось, а затем, двигаясь на первый взгляд беспорядочно, свернулось в тугой клубок. Голова, по словам мистера Дэви, очутилась между ног молодого человека, а руки крепко сжались. Он сравнил эту

позу с положением абортированного младенца, вынутого из утробы. Вне сомнений, подобно другим присутствующим, я с ужасом слушал мистера Дэви, который поведал о том, что тело невозможно было распрямить и в этом сжатом, неестественном положении оно предано было известковой яме во дворе Ньюгейтской тюрьмы. Таково оказалось действие электрического тока.

Когда мистеру Дэви принялись задавать вопросы, я покинул залу и вышел на улицу. Была ли тут виной атмосфера в помещении или влияние электрического тока, наполнившего эфир, но я почувствовал, что меня душит. Шел я быстро, однако вскоре пустился бежать. Я знал, что должен выбраться за пределы города. Это было страннейшее из побуждений, какие мне когда-либо приходилось испытывать, до того пугающее и неотложное, что сердце мое, казалось, с каждым шагом билось все сильнее. Я словно бежал от кого-то или от чего-то, но природа моего преследователя была мне неизвестна. Был ли то момент безумия? Один или два раза я, возможно, даже оглянулся через плечо. Не помню.

Я понесся вперед, миновал Оксфорд-роуд и побежал дальше, на север. Порой мне попадались люди, которые, предполагая, что за мной гонятся «Бегуны» или другой отряд, кричали мне вслед, чтобы меня подбодрить. У дровяного склада какие-то дети пустились было бежать со мною, вопя и хохоча, но скоро отстали. И тут, миновав питейное заведение и заставу на краю поля, я испытал престраннейшее чувство, будто рядом со мной бежит некто другой. Я не видел и не слышал его, но, летя по неровной дороге, всем существом своим осознавал его присутствие. Тенью моей это быть не могло, ибо луна скрывалась за облаками. Что это было, я не знал – некое видение, некий фантазм, никак не желавший отставать от меня, невзирая на мой спорный шаг. Чтобы стряхнуть это необычайное ощущение, я бежал все быстрее. Я обогнул большой пруд, затем пересек поле, где стояли печи для обжига кирпича и дымился мусор. То была уже самая окраина города; тут располагались немногочисленные разбросанные жилища, зловонные канавы и загоны для свиней. Я все не сбавлял шага, а тот, другой, все бежал бок о бок со мной. Дорога пошла в гору, и, минуя какие-то чахлые, иссохшие деревца, я споткнулся об корень или об ветку и чуть было не упал наземь, но тут, к изумлению и ужасу моему, нечто словно приподняло меня и спасло от падения. Тогда мне пришло в голову, что у меня началось подобие нервной лихорадки, и я немного замедлил шаг. Направившись к дубу, чьи очертания вырисовывались в темноте, я привалился к нему.

Я сидел там, тяжело дыша; я пощупал лоб, чтобы удостовериться, что у меня лихорадка, но ничего не ощутил.

Насколько знаю, я не спал и все время пребывал в полном сознании, однако страх покинул меня, не оставив по себе никакого следа. Я, похоже, возвратился в свое обычное состояние, хоть и с отрешенным чувством, отчасти напоминавшим усталость. Меня охватило любопытное ощущение смирения – но не облегчения или благодарности; при всем том мне отнюдь не казалось, будто с меня снято бремя. Я решил, что мне дан знак свыше, но какой именно – еще предстоит осознать. Меж тем до меня донесся гул, словно шла лавина или камнепад; я выпрямился, встревоженный, припоминая несчастья, происходившие в моих родных краях, но быстро понял, что это шум Лондона – сбивчивое, хоть и не лишенное гармонии бормотание, – город, казалось, разговаривал во сне. Виднелись какие-то разрозненные огни, однако главенствующим было ощущение нависшей тьмы. Услышав зарождающийся рев необъятной жизни, на мгновение замершей, я поднялся со своего места у подножия дуба и пошел в ту сторону.

Когда я приблизился к границе города, шел дождь, тихий, ровный дождь, покрывалом ложившийся на улицы. В такую ночь людей вокруг было мало, и по дороге к Оксфорд-роуд шаги мои отчетливо стучали по булыжнику. Возвращаться на Бернерс-стрит мне не хотелось – нет, не теперь. У меня возник нелепый предрассудок: будто там ожидает меня – готовое

встретить – нечто. Тогда я решил отправиться на Поланд-стрит, где надеялся найти Биши еще бодрствующим. В его привычках было писать – или говорить – при свечах, а после наблюдать, как первые гонцы зари пробираются под его створное окно. И верно, проходя под его окнами на втором этаже, я заметил, что там горит свет. Я бросил в оконницу несколько камешков – он открыл ставни и, увидав меня на узкой улице под окном, распахнул его и швырнул вниз ключи.

– Вы слышали – пробило полночь! – крикнул он мне. – Подымайтесь!

– Все ли благополучно, Виктор? – спросил он, открывши дверь в свои комнаты над первым пролетом лестницы. – Вы словно в холодном поту.

– Дождь – только и всего. Ненастная ночь.

– Входите же, обогрейтесь. – Вслед за тем он сказал, обращаясь к кому-то через плечо: – У нас гость.

Когда я вошел в комнату, навстречу мне поднялся Дэниел Уэстбрук.

– Мы как раз говорили о вас, мистер Франкенштейн, – сказал он.

– Прошу вас, зовите меня Виктором.

– Мне было любопытно узнать про ваши занятия.

– Вот как?

– Я рассказал ему, Виктор, что вы изучаете гальванизм. Что вас занимают законы жизни.

– Меня занимают источники жизни, – сказал я. – Это и вправду так.

– Вас занимает вопрос, откуда она происходит? – спросил меня Уэстбрук.

– Откуда она может происходить. Что еще вы тут обсуждали? Я не представляю собой столь уж захватывающего предмета разговора.

– Мы, Виктор, обсуждали будущее сестры Дэниела.

– Мистер Шелли повидался с моим отцом.

– Вот как? Когда это произошло?

Разговор в таверне, когда Биши пообещал дать Гарриет Уэстбрук образование за свой счет, состоялся тремя днями ранее.

– Я посетил семейство Уэстбрук вчера утром, – ответил Биши. – Мне подумалось, что воскресенье – единственный день, когда отец Дэниела способен принимать посетителей.

– Мистер Шелли... – начал Уэстбрук.

– Биши. Просто Биши и Виктор.

– Биши не жалел его чувств. Он упрекал моего отца за то, что тот позволяет Гарриет водиться с распутными женщинами.

– Я преувеличивал – дабы быть понятым. К тому времени Гарриет уже вышла из комнаты.

– Он упрашивал, чтобы тот позволил ей изучать авторов, оказывающих благотворное воздействие.

– Я знаю, что она умеет читать. Она мне об этом сказала.

– А под конец, охваченный страстью, он предложил моему отцу денег.

– Это решило дело. Я пообещал заплатить ему ровно столько, сколько зарабатывает Гарриет, и гинеей в неделю сверх того. Эти святоши любят наживу. Встаньте у огня, Виктор, Вы до сих пор дрожите.

– Мой отец, – сказал Уэстбрук, – человек бедный, равно как и богобоязненный.

– За бедность я его не корю. Я корю его за то, что он не заботится о Гарриет.

– Куда вы ее поместите? – спросил я Биши.

– Я не намерен ее куда-то помещать. Нет, неверно. Я помещу ее здесь.

– Вы хотите сказать... – Я оглядел гору книг и бумаг; жилье его было в состоянии столь же сумбурном, что и его комнаты в Оксфорде.

– Я намерен обучать ее сам. Мы с Дэниелом обсуждали вопрос женского образования – без этого предварительного шага раскрепощение женщины невозможно. Я познакомлю Гарриет с Платоном, Вольтером и божественным Шекспиром.

- Для молодой девушки это немало.
- Дэниел уверяет меня, что она и сама рвется к ученью. Читать они начали под наставлением их матери.
- Теперь ее нет в живых, – сказал Уэстбрук.
- Дэниел по-прежнему дает ей книги, которые она читает по воскресеньям, спрятавши их внутри Библии.
- Значит, она приедет сюда? – спросил я.
- Что в этом такого?
- Без сопровождения компаньонки?
- Вы, Виктор, все такой же нестигаемый женевец. В Лондоне – в этой части Лоднона – подобных условностей нет. А будь они, я с радостью нарушил бы их. – Он взглянул на Уэстбрука. – Я всем сердцем желаю действовать в интересах Гарриет. Я буду ей читать. Поглядите. – Он подошел к горе книг, наполовину свалившейся на ковер, и взял одну из них. – «Крушение империй»⁷ Вольнея. Знакома ли вам, Виктор, эта вещь? – Я кивнул. – Из этой книги она узнает о том, что несправедливая власть обречена и что всех тиранов ждет падение.
- Надеюсь, это доставит ей удовольствие, – сказал я.
- А что бы вы на моем месте читали ей? Романы Фанни Берни? Они суть те узы, что сковывают молодых женщин, находящихся в порабощении. Что до этой книги, ее я собираюсь одолжить Дэниелу. – Он возвратился к горе и поднял «Защиту прав женщины» Мэри Уоллстонкрафт. – Когда он подробно ее изучит, я преподнесу книгу его сестре. Вы согласны, Дэниел?
- Как вы тогда выразились? – спросил Уэстбрук. – Нам должно пробить дорогу.
- Именно. Мы говорим о радикальных реформах, но ведь слово «радикальный» происходит от слова «корень»⁸. Корень и ветвь. Реформы должно распространить на все сферы деятельности. Виктора интересуют вольтовы явления. Меня интересует душа Гарриет. Эти вещи вполне равносильны. – Возбуждись в ходе этой беседы, он открыл окно, чтобы вдохнуть холодного сырого воздуха. – Что за ночь! – продолжал он. – В такую ночь на улицах Лондона мне представляются бродячие призраки, возникшие из воды. Но кто знает, видны ли привидения в тумане?
- Я подошел к Уэстбруку:
- По душе ли вашей сестре это новшество?
- Она вне себя от радости, мистер Франкенштейн. Она жаждет знаний.
- Так тому и быть. – Я повернулся к Шелли: – Вот уж не думал, что вы, Биши, способны быть учителем.
- Каждый поэт – учитель. На этот счет Дэниел согласен со мною. Он боготворит поэтов Озерной школы⁹. «Тинтернское аббатство» он способен цитировать по памяти.
- Я знаю последние строки, – прошептал мне Уэстбрук. – Они запомнились мне навсегда.
- Когда же вы начинаете занятия с мисс Уэстбрук? – спросил я Биши.
- Завтра утром. Она придет сюда пораньше. Я дал ей экземпляр «Нравственных историй» миссис Барбо, чтобы произвести впечатление на ее отца, но эту книгу мы оставим. Я хотел бы, чтобы для начала она почитала Эзопа. Он очаровывает воображение и наставляет ум. Будут там и кое-какие трудные слова – их я изъясню.
- Я зайду за ней завтра вечером в шесть, – сказал Дэниел Уэстбрук.
- Но ведь это означает, что вы не сможете прийти на пиесу.

⁷ Вышедшее в 1791 г. и ставшее впоследствии знаменитым эссе французского философа, ориенталиста и политического деятеля Константена Франсуа графа де Вольнея.

⁸ Radical – от латинского radix (корень).

⁹ Озерная школа – группа английских поэтов-романтиков конца XVIII – первой половины XIX века, крупнейшими представителями которой были У. Вордсворт, С.-Т. Кольридж и Р. Саути.

– Пьеса? Что за пьеса?

– «Скиталец Мельмот». Это последняя вещь Каннингема. Открывается завтра вечером. Впрочем, постойте. Если вы, Дэниел, отвезете ее домой в кебе, то успеете встретить нас перед входом в театр.

– Я не приучен к кебам, – сказал Уэстбрук.

– Вот. – Биши вынул из кармана соверен. – Не пропускать же вам драму.

Мне ясно было, что принимать соверен Уэстбруку не хотелось – он сделался неловок и смущен. Биши тотчас же это понял и пожалел о своем естественном порыве.

– Или же вам приятнее было бы провести вечер с сестрой?

– Полагаю, что так. Да. – Уэстбрук отдал соверен Биши. – Вы поступаете щедро, сэр, но, говоря начистоту, к щедрости я не приучен. Сестра моя более достойна ее.

– Все мы недостойны, – сказал Шелли. – Вы же, Виктор, обязательно должны прийти. Вкусим ужасов сполна.

Я согласился и вскоре распрощался с ним. События этой ночи страшно утомили меня. Уэстбрук проводил меня до Бернерс-стрит, ибо, по его словам, мне, чтобы пройти через Сохо, требовался местный провожатый. Услышав шум гулянья поблизости, я инстинктивно отпрянул в сторону.

– Любите ли вы Лондон? – спросил он меня.

– Я плохо его знаю. Он возбуждает во мне интерес.

– Отчего же?

– Жизнь его исполнена энергии. Здесь возможно почувствовать себя частью хода современности. Частью великого дела. Я родом из уединенных краев, где подобные вещи в диковинку.

– Я слышал, вы говорили, что вы из Женевы.

– В некотором смысле – да. Но Женева город небольшой. По сути говоря, я из альпийской местности, где мы привыкли бродить среди гор. Одиночество у нас в крови.

– Как я вам завидую!

– Неужели? Никогда не думал, что это положение может вызывать зависть.

– Оно придает вам силы, мистер Франкенштейн. Оно придает вам воли.

Удивленный этим, я, пока мы переходили Оксфорд-роуд, молчал.

– У нас в Женеве нет газовых фонарей.

– Это новшество. И все-таки удивительно, как скоро привыкаешь к этому яркому свечению. Видите, какие густые тени оно отбрасывает? Поглядите, какая тень тянется от вас по стене! А вот и ваша улица.

– В какую вам сторону, мистер Уэстбрук?

– На восток. Куда же еще? – Он засмеялся. – Такая уж мне судьба. Мы скоро увидимся. Доброй вам ночи.

Он споро зашагал по Оксфорд-роуд, а я, проводив его взглядом, свернул на Бернерс-стрит. Я приблизился к двери с неким страхом, не поддававшимся определению и оттого усиливавшимся, но затем быстро перешагнул порог и поднялся по лестнице. В комнатах моих было темно, и я с помощью люциферовой спички зажег небольшую масляную лампу. В свете ее шипящего фитиля контуры и размер комнаты словно менялись, не спеша возвращаться к своим привычным очертаниям. Усевшись в старомодные, с подлокотниками, кресла сбоку от кровати, я принялся размышлять об испытанном этой ночью. Я понимал, что ко мне прикоснулась некая сила, но не знал, как мне следует ее воспринимать.

В тишине мне послышались шаги, приближавшиеся по Бернерс-стрит, – шел один человек, однако поступь его была чрезвычайно отчетлива и тяжела, будто он сгибался под непо- сильной ношей. Затем шаги стихли перед самым моим окном. Я сидел неподвижно, не в состоянии пошевелить ни единым членом. Затем, по прошествии минуты или около того, человек

двинулся дальше по булыжной мостовой; теперь поступь его стала заметно легче. Я подошел к окну, но никого не увидел.

Лежа в ту ночь в постели, я видел сон. Мне снилось, что меня хоронят. Гроб со мною медленно опускался в землю. Я понимал это, хотя никакого особенного ужаса, казалось, не ощущал. Когда же гроб мой, достигнув дна ямы, остановился, я понял, что не одинок. Некто лежал рядом со мной.

Глава 4

Вечером следующего дня я навестил Биши на Поланд-стрит. Он был в прекрасном расположении духа и обнял меня, когда я вошел в дверь.

– Первый урок закончился, – сказал он.

– Мисс Уэстбрук ушла?

– Дэниел только что отправился провожать ее домой. Пешком. – Он засмеялся. – Виктор, она будет превосходной ученицей! Сегодня я говорил с нею о поэзии Чосера и трубадуров, я декламировал несколько строчек из Гильома де Лорриса.

– Вы, кажется, намеревались преподавать ей Эзопа.

– Он показался мне слишком сухим. Жаль, что вы не видели ее лица, когда я читал ей из «Романа о розе». Виктор, оно сияло! Слово души ее выглядывало из ее глаз!

Тут я заподозрил, что интерес Биши к Гарриет Уэстбрук сильнее, чем интерес учителя к ученику.

– Вы читали ей французских труверов?

– Разумеется. Где же начинать, как не в средневековом саду? А после мы перейдем к Спенсеру. Затем к Шекспиру. Я осыплю ее наслаждениями!

– Ей, должно быть, странным кажется освобождение от работы.

– Полагаю, она испытывает от этого страх и одновременно радость. Вы знаете, что она сказала мне? Она сказала: это все равно что умереть и родиться заново. Видите, что у нее за душа!

– Я вижу, что она произвела на вас впечатление. Где идет пьеса?

– В «Друри-Лейн». Вы, Виктор, не привыкли к нашим театрам. Все начинается и заканчивается в «Друри-Лейн». Нам пора идти.

Улица, когда мы там очутились, была заполнена экипажами, но мы без труда вошли в Королевский театр, где нас окружили разносчики сластей, продавцы фруктов и мещанки.

– Мы в партере, – сказал Биши. – Ложи не достать было ни за какие деньги.

Мне никогда прежде не доводилось посещать лондонские театры, и меня тотчас же поразили беспорядок, царивший среди этого сборища. Стоять нам пришлось поблизости от небольшого оркестра под сценой, и оттого казалось, будто мы находимся на фруктовом рынке или лошадиной ярмарке.

– Взгляните туда, – обратился ко мне Биши, перекрикивая общий гомон. – Вон мистер Хант. Видите вы его? В фиолетовой шляпе. Это великий человек, Виктор. Герой грядущего века.

Взгляд Ли Ханта упал на Биши, он широко улыбнулся и приподнял шляпу.

– Вы знаете, Виктор, почему он здесь? Мистер Хант друг Каннингема. Наш автор – сын свободы. Меня не удивило бы, начнись нынче вечером демонстрации против правительства.

Биши удовлетворенно оглядывался по сторонам. Нижние ряды партера тем временем заполнились до предела, а вскоре и места позади нас, и ложи вокруг были целиком заняты. Прежде я никогда не наблюдал лондонской толпы, если тут позволительно использовать это слово, и должен сказать, что она вызвала у меня определенный испуг. Несмотря на смех и общее оживленное настроение, она напоминала некое беспокойное существо, занятое поиском добычи. Способно ли множество жизней составить одну жизнь?

Оркестр заиграл какую-то мелодию, несомненно сочиненную по этому случаю, – и занавес раздвинулся, открывши горный ландшафт, лед и скалы.

– Узнаете ли вы эти места? – прошептал мне Биши. – Мы в Швейцарии.

Затем на сцене появилась фигура в колпаке, облаченная во все черное. Она приближалась шагом быстрым, более подобающим дикому созданию. Выглядело все это столь странно и угрожающе, что публика замерла.

– *О небо, что есть человек?* – раздался неестественно громкий голос. – *Существо, обладающее неведением, но не инстинктом слабейшего из животных!*

– Это Наджент, – прошептал Биши. – Искуснейший актер.

Затем фигура повернулась к публике и сняла колпак. При виде ее бледного, с запавшими щеками лица – изможденного, отмеченного печатью терзания, дрожащего – раздались невольные возгласы удивления, а возможно, и смутения.

– Примерам пришлось потрудиться, – сказал Биши.

Однако я едва слушал его. Фигура эта выражала нечто столь горестное, столь ужасное, что все мое внимание было приковано к ней.

– *У омута, покрытого пеной, растет дуб. Мне нередко доводилось слышать, что в давние времена здесь окончила горестные дни свои женищина – отчаявшаяся, несчастная, подобно мне. Что ее горести в сравнении с моими! Мои не окончатся вовек.* – Казалось, он оглядывает зал, всматриваясь в каждое лицо, ловя каждый взор, и меня охватил необъяснимый страх, что он встретится глазами со мной! – *Я совершил великий грех пред небом – грех гордыни и умственного восхваления. Ныне я обречен на скитания. Мельмот стал Канном, отверженным на этой земле!* – Я не понимал тогда, отчего эти слова оказывают на меня столь сильное действие. – *Тайна судьбы моей покоится во мне самом. Если все то, что нашептал обо мне страх, если все то, во что верят вопреки недоверию, – правда, то каков итог? Таков, что, коли деяния мои превосили все преступления смертных, то же станет и с моим наказанием. Я, напасть на этой земле...*

Кто-то выкрикнул: «Ливерпульская напасть!»¹⁰ – и все – премьер-министр и люди вокруг меня – разразились хохотом.

На мгновение могло показаться, будто Наджент ошарашен, однако он, положив руку на грудь и устремивши взор на изображение отдаленных гор, дождался, пока шум утихнет, и вновь сделался Мельмотом.

– *Я проклинаю и терплю проклятья. Я покоряю и терплю поражения.*

Прежде мне ни разу не доводилось лицезреть искусство преображения так близко, и меня восхитила та кажущаяся легкость, с какою Наджент входил в образ Мельмота, – он казался еще более живым, будучи и самим собой, и этим несчастным. Он словно приобрел силу, вдвойне превышающую ту, что дается одному человеку.

– *Каждое человеческое сердце клянет меня, однако ни одна человеческая рука ко мне не прикасается. Вот они, руины.* – Дрожащею рукой он указал на груды камней на краю сцены. – *А там, позади, – та часовня, где обвенчаюсь я со своею избранницею.*

Меня поразили не сюжет, но игра актера и представление. Мне никогда прежде не доводилось видеть ни столь большой сцены, ни столь пышной постановки, да и к особой яркости газовых ламп я едва успел привыкнуть. Густые тени, богатство красок и симметричность композиции на сцене – все это вместе создавало эффект более жизненный, нежели сама жизнь. Мне вспомнилась книга с цветными рисунками, что хранилась в сакристии церкви Святой Девы Марии в Оксфорде – ее разрешалось посмотреть по предъявлении письма от члена колледжа, и однажды я провел восхитительное утро за переворачиванием страниц, синих и золотых, украшенных блестящими изображениями святых и дьяволов. Так было и в «Друри-Лейн» тем вече-

¹⁰ Намек на бывшего тогда премьер-министром (и присутствовавшего на описанном представлении) Роберта Бэнкса Дженкинсона, 2-го графа Ливерпуля. Лорд Ливерпуль печально прославился репрессиями против радикального движения в Англии. Именно он на время отменил действие хабеас корпус в Англии (1817 г.) и Ирландии (1822 г.), а также наложил ограничения на свободу слова и собраний. В 1820 г. последователи радикала Томаса Спенса попытались организовать покушение на лорда Ливерпуля, однако заговор был раскрыт и часть его руководителей повешена.

ром. Это походило не на какую-либо горную местность в моей родной стране, но на прекрасное и возвышенное видение – картину пустынного отчаяния. Насколько я мог судить, на сцене кроме настоящих камней и гравия были валуны побольше, сделанные из натянутого холста, раскрашенного в серый и синий, а поток, бежавший позади, был длинной полосой серебряной бумаги, которую колыхали невидимые руки.

Наступил конец первого акта. Маленький оркестр заиграл мелодию, и Биши обнял меня за плечи.

– Это – подлинное! – произнес он с большим чувством. – Что за прелесть! – Я промолчал. – Изгой, скиталец на этой земле – не все ли мы таковы! Лишь речи изгнанника способны воспламенить! Воображению под силу создать тысячу различных людей и миров. Это творец. Это семя новой жизни.

– Неужели оно способно на столь многое?

– Разумеется. Воображение – божественная искра, пролетающая над хаосом.

– Поток был сделан из серебряной бумаги.

– Да что с того! Сцена – дело рук смертных, но видение... – Он остановился купить бутылку пива и выпил его одним залпом, затем отер рот рукою.

Музыкальная интерлюдия окончилась, и начался второй акт – действие происходило в разрушенной часовне. Однако меня снова отвлекли. За самую спину у меня некто разговаривал со своим спутником; голос его слышен был вполне отчетливо.

– Любопытно, останется ли это чудовище жить или умрет? Любопытно, раскаивается ли он в содеянном? Как вы полагаете? – Несколько секунд стояла тишина. – Кто, по-вашему, его создал? От каких мужчины с женщиной он родился? – Человек снова смолк. – Возможно ли простить того, кто создал подобное существо? – Я почувствовал у себя на шее горячее дыхание говорившего. – Возможно ли оправдать сотворение разбитой жизни? Это заслуживает сурового наказания. Наказания, которому нет конца.

Я обернулся, но стоявшие рядом со мною, явно захваченные драмой, не разговаривали. Театр несомненно обладал странной акустикой.

На короткое время занавес задержали, а вслед за тем снова раздвинули, и нам открылся водоем на вершине горы – в Шотландии народ называет такие места курганами. Теперь Мельмот, схватив противящуюся невесту за запястья, стоял на фоне теряющейся вдаль панорамы горных пиков и расселин.

– Семя такого существа будет бесплодно. – Это был все тот же голос; раздавался он прямо позади меня. – По его собственному расчету, возраст его более века. Впрочем, коли он поднялся над оковами обыденной жизни – кто ж ему судья?

Девушка вырвалась из рук, что сдерживали ее, и бросилась в воду. Я ожидал всплеска или какого-либо движения в воде, но вместо того она медленно опустилась, держа руки над головой. Это, разумеется, было обусловлено механикой сцены.

Биши сжал мою руку и шепнул мне:

– Я этого не вынесу. Это зрелище чересчур волнует. Чересчур потрясает.

– Вы желаете уйти?

– Да. Мне страшно!

Я всегда считал, что Биши слишком чувствителен для того, чтобы противостоять ударам судьбы, и это проявление беспокойной натуры его не особенно меня удивило.

– Давайте же уйдем, – сказал я. – Если только сумеем пробраться через эту толпу.

Когда мы вышли в вестибюль, он остановился и, снова взявши меня за руку, засмеялся.

– Я болван, – сказал он. – Простите меня. То был какой-то панический страх. Теперь он прошел. У вас удивленный вид.

– Мне любопытно узнать, что случилось.

– Когда девушка бросилась в озеро и подняла руки над головой – в этот миг меня охватил приступ неимоверного страха. Затрудняюсь изъяснить, отчего.

– Вернемся?

– С меня достаточно. Разве что вы, Виктор...

– Нет-нет.

Мы уже были на улице, как вдруг услышали чей-то оклик:

– Мистер Шелли, мистер Шелли! – То был Дэниел Уэстбрук, бегом направлявшийся к нам. – Благодарение Господу, я успел!

– Да что такое?

– Гарриет. Она больна. Она просит позвать вас.

– Что? Что случилось? Что с ней такое?

– Она упала перед самым домом. У нее начался бред.

Биши выбежал на дорогу и остановил кеб, только что свернувший на Друри-лейн. Мы поспешно вскочили, Дэниел тотчас прокричал номер дома на Уайтчепел-хай-стрит, и внезапный рывок коляски швырнул нас на заднее сиденье.

– Это ваша рука или моя? – спросил Биши, выпутываясь, и уселся на деревянное сиденье напротив нас. – У нее лихорадка? Следует раздобыть льда. Лихорадка неминуема. Неужто нельзя ехать быстрее? – Он то и дело выглядывал в окно, закрытое материей, а не стеклом, словно оценивая скорость, с какой мы ехали. – Расскажите мне, что в точности произошло.

Дэниел разъяснил, что они с Гарриет направились с Поланд-стрит на восток по Оксфорд-роуд. Дэниел говорил Гарриет о том, что мы намерены посетить «Друри-Лейн», где должны представлять «Скитальца Мельмота». Она изъявила желание самой побывать в театре. «На свете так много всего, что мне хотелось бы повидать!» – сказала она брату. Глаза ее, по его словам, наполнились слезами, но он поддержал ее за руку. Вместе они пересекли город, миновали собор Святого Павла и по Кэннон-стрит вышли на Олдгейт-хай-стрит. Там, у водокачки, она остановила его и воскликнула: «Я так счастлива, Дэниел! Я готова умереть на месте!»

Они прошли по Олдгейт-хай-стрит и, перешедши дорогу, оказались в Уайтчепеле – на главной улице, по его словам. Уже в сотне ярдов от дома Гарриет, оглядывая лавки и жилые постройки вокруг, вскричала, обращаясь к Дэниелу: «Я чувствую, что задыхаюсь. Мне страшно – у меня разорвется сердце!» На этом она упала в его объятия. В волнении и тревоге он сумел донести ее до дому – расстояние было невелико. Ее поместили в гостиную, где она принялась говорить; в речах своих, чрезвычайно странных и сбивчивых, она несколько раз позвала «мистера Шелли». «Ах, только бы увидеть мистера Шелли – тогда мне будет покойно», – повторяла она.

Стоит ли говорить, что Дэниел тотчас же бегом отправился к «Друри-Лейн» в надежде, что представление еще не успеет закончиться. По счастливой случайности он увидел нас как раз в тот момент, когда мы вышли из театра.

Биши по-прежнему нетерпеливо выглядывал в окно.

– Мы на востоке, Виктор.

Некоторое время, пока кеб громыхал и трясся по булыжной мостовой, он хранил молчание.

– Вот здесь мы и живем. – Дэниел указал на небольшой тупик, отходящий от главной дороги, а затем крикнул вознице: – Приехали!

Биши выскочил из повозки и, не успели мы сойти, протянул человеку соверен. Полагаю, он охвачен был яростным, беспокойным желанием увидеть Гарриет.

Я оглянулся, и одного взгляда на главную улицу хватило, чтобы мне открылась ее нищета. Часом раньше или около того здесь, верно, шла торговля, и теперь место было заполнено передвижными прилавками и лотками, а среди них в изобилии валялись всяческие отбросы,

фрукты, зелень и обрывки бумаги. Биши успел подбежать к дому и постучать в дверь, не дожидаясь, пока к нему присоединится Дэниел. Дверь быстро открылась, и Биши тут же пропустили.

– Я доверяю ему, – сказал Дэниел. – Он может оказаться действеннее любых докторов с аптекарями.

– По крайней мере, в отношении вашей сестры.

– Да. Это я и хочу сказать.

Мы последовали за Биши в дом, маленький, узкий и пропитанный легким запахом сырой соломы, какой я замечал и в других лондонских жилищах. В таком – как говорят англичане – и кошке хвостом не помахать. Биши вошел в небольшую гостиную, выходящую окнами на дорогу, и встречен был двумя молодыми женщинами, принятыми мною за сестер Гарриет. Мы с Дэниелом направились в комнату – там и без нас было не повернуться, – где Биши уже стоял на коленях подле лежащей навзничь девушки.

– Она все о вас говорила, мистер Шелли, – прошептала одна из сестер. – Да только теперь она совсем без памяти.

Биши склонился на ней и прошептал:

– Гарриет, Гарриет, слышите ли вы меня?

Голос его словно пробудил ее.

– Мне было так счастливо, мистер Шелли. Так счастливо!

– Счастье к вам скоро возвратится. Ну-ну, позвольте мне подложить вам под голову эту подушку – вот так.

– Это все от внезапности. Я была удивлена.

– От внезапности?

– Внезапная радость. Разве это не мистера Вордсворта слова?

Он нагнулся и поцеловал ее руку.

Находясь у двери, я услышал слабый звук и повернул голову. На лестнице стоял мужчина средних лет. На нем был старомодный, с ласточкиными фалдами сюртук полинявшей черной ткани, галстук развязался. Заметил я и то, что руки его были сжаты в кулаки. Очень медленно, словно бы не замечая моего присутствия, спустился он по лестнице и остановился, прислушиваясь к звукам в комнате. Биши спрашивал воды.

– Придется ему к водокачке идти, – произнес мужчина. – Здесь воды нету. – Тут он повернулся ко мне. – К вашим услугам, сэр. Полюбуйтесь-ка, что по вашей милости в доме творится.

Я не понял, что он имел в виду, он же взглянул на меня в манере, как мне показалось, угрожающей.

Одна из женщин вышла.

– Папенька, времени терять нельзя. Принесите ведро, пока я платок надену.

– «И младенцы их будут разбиты пред глазами их; дома их будут разграблены и жены их обещены»¹¹.

– Не время теперь, папенька. Ах, да вот же мой платок!

Взявши большой деревянный сосуд, что стоял под лестницей, она выбежала на улицу.

Я последовал за ней, не желая дольше оставаться в компании ее мрачного отца.

– Позвольте мне помочь вам, – сказал я.

– Мне не нужна помощи, сэр. Я иду к водокачке, принести воды для бедняжки Гарриет.

– Вы ее сестра?

– Да. Эмили. Она нас так перепугала – хорошо хоть теперь уgomонилась. Мистер Шелли с нею поговорил. – В глазах домашних Биши, по всей видимости, сделался спасителем. – Нам вот сюда сворачивать.

¹¹ Книга пророка Исаии, 13:16.

Мы вошли во двор, со всех сторон окруженный жилищами бедного вида, облупленными, в пятнах; на подоконниках там и сям примостились редкие цветочные горшки. Картину дополняли стоявшие вокруг водокачки пожилые женщины и дети.

– Будьте так любезны, пропустите меня. – Эмили явно привычна была к происходящему. – Моя сестра захворала.

– Ты, Эм, смотри не давай ей этой воды, – окликнула ее какая-то древняя старуха, чрезвычайно позабавив этим своих товарок. – От нее верная смерть.

– Да это чтоб жар унять, только и всего, миссис Сайке.

– Холодная-то она холодная, что и говорить, да только грязная – страх. От нее тут много кто сбрендил.

– А это что еще за красавчик, Эм?

Вопрос задан был пареньком, который не сводил с меня глаз, пораженный зрелищем странным и одновременно уморительным. Я старался одеваться как принято у англичан, однако в платье моем или же в манерах имелось некое неуловимое отличие, непременно выдававшее во мне иностранца.

– Мамаша его искать не будет?

Эти слова вызвали у собравшихся женщин смех, но Эмили уже наполнила ведро и направилась прочь от водокачки.

– Простите, ежели они вас обидели, сэр, – сказала она, когда мы вышли со двора. – Они к незнакомым не приучены. Не знаю, как ваше имя...

– Виктор Франкенштейн.

– Вы друг мистера Шелли?

– Да, верно. И вашего брата. Вы говорите, Гарриет лучше?

– Она утомилась. А то несла чепуху всякую. Ой, да что ж это я! Теперь ей покойно.

Поведение Эмили, весьма похожее на поведение ее сестры, меня удивило. Место столь захудалое, пропитанное грязью, не оставило на ней своего следа. Необычное это было семейство.

– У вас, полагаю, есть еще одна сестра?

– Да. Джейн сейчас тут. Живет она с мужем в Бетнэл-грин, да ей случилось зайти проведать папеньку.

– Стало быть, вы с Гарриет живете с отцом?

– Как маменька померла, Джейн выдали через месяц-другой. А мы за домом присматриваем.

– Отец ваш еще работает?

– Ах, нет. Пришлось ему перестать. Нервы у него совсем плохи.

Признаюсь, при виде Эмили меня взволновало желание, но теперь всякие чувства подобного рода будили во мне одну лишь неприязнь. Плотская похоть представляла собой угрозу для чистоты моего предназначения; до этого нельзя было допускать. Я решил держаться в стороне.

– Ваша фамилия показалась мне странной.

– Так часто бывает. Позвольте мне помочь вам нести воду.

– Як этому привычна.

Эмили перенесла ведро через порог и вошла в гостиную, где Гарриет уже сидела на диване. Опустившись перед нею на колени, Эмили принялась смачивать ей лоб и виски водой с такою сестринской нежностью, что меня вновь поразило существование подобного семейства по соседству с публикой столь жалкой и грубой.

– Она пришла в себя, – сказал мне Биши. – Это была лихорадка.

– В таком случае нам не следует здесь оставаться.

Мне было весьма нехорошо в этом маленьком жилище. Оно было чистым и благопорядочным настолько, насколько возможно, однако тамошняя округа была такого свойства, что

оставляла на нем свой отпечаток вроде этого слабого запаха соломы. Оно нагоняло на меня тяжелое чувство, да что там – усталость, справиться с которой я был не в силах.

– Тут мало места. Из-за нас Гарриет нечем будет дышать.

– Разумеется. Вы правы. Ей нужен воздух. Пойдемте сию же минуту.

Биши положил руку Дэниелу на плечо и сказал ему, что мы намереемся возвратиться в Сохо.

Дэниел настоял на том, чтобы проводить нас до оживленного перекрестка, прямо за Уайт-чепел, где попадались кебы, направлявшиеся в город.

– Очень любезно с вашей стороны, мистер Шелли, – сказал он. – И с вашей, мистер Франкенштейн. Вы вернули ее к жизни скорее, чем то казалось возможным.

– Не мы, Дэниел. Ей помогла ее природная сила. Она рождена под собственной звездой.

Мы остановили кеб, и Дэниел помахал нам на прощанье. Биши высунул голову из окна и прокричал:

– Передайте ей, что я непременно приду повидать ее завтра! – Он со вздохом откинулся на сиденье. – Мы сделали доброе дело, – проговорил он.

– И все-таки мне жаль ее.

– По какой причине?

– Оглянитесь вокруг. Видите, какое убожество? В таком месте нетрудно опуститься до преступления и порока.

– Да. Место и вправду жалкое. – Вид у Биши был весьма утомленный.

– Жалкое? Оно чудовищно. И будет порождать чудовищ. Приходилось ли вам когда-либо видеть подобное запустение?

Биши что-то пробормотал в ответ, но я не расслышал.

– Что вы?

– Я говорю, видели вы ее отца?

– Он был на лестнице. Никакой опасности он не представляет.

– Опасности?

– Простите меня, – отвечал я. – Мысли мои блуждают.

И все-таки я полагал, что мистер Уэстбрук считает меня врагом своего семейства.

Каждое утро я посещал занятия в анатомическом театре больницы Св. Фомы. Мне как вольнослушателю дали разрешение после того, как я заплатил пустячную сумму за курс лекций, которых никогда не посещал. Мне нужна была лишь практическая работа – резать. Теории и гипотез мне было мало. Единственный путь к знанию лежал через изучение мертвых. Прежде чем прийти к какому-либо разумному соображению, должно было наблюдать и экспериментировать.

Анатомический театр был местом не для пугливых или слабых духом. На столах для препарирования, стоявших посередине комнаты, раскладывали трупы, и студенты, вшестером или всемером, принимались копать в их костях и внутренностях. Одни выбирали объектом внимания руку, другие – ногу или кишку. Многие из тел выкладывали за несколько дней до погребения, многие выкапывали из земли в состоянии отчасти разложившемся. Тем не менее, если плоть и была нетвердой, кости в целом по-прежнему оставались крепкими.

Вдоль стен располагались стеклянные ящики со всевозможными образцами частей тела. С одной стороны комнаты помещался большой камин, в котором стоял медный чан – его использовали для варки тел, когда работа ножом слишком замедлялась. После этого кости можно было с легкостью отделить от сваренной плоти. К запаху гнилой или гниющей плоти я привыкнуть еще не успел, однако он не оскорблял моего обоняния. Смешанный с запахом консерванта, он превращался в пикантный аромат, долгое время после занятий остававшийся на руках и даже на одежде анатомов. Некоторые сторонились этого запаха, обнаружив, что идет

он от наших сюртуков. Попадались и такие, что, впервые вошедши в анатомический театр, падали замертво. Других сильно тошнило, и они оставляли содержимое своих желудков на полу, среди внутренностей и экскрементов мертвецов. Зловоние смерти эквивалентно самой смерти. Это – тьма страха, неизвестная сила, крах надежд. Однако, сумей я победить смерть, что тогда? Тогда зловоние смерти сделается, возможно, тончайшими духами!

Среди моих товарищей-анатомов был молодой человек с ясным взором и румяным цветом лица. Из разговоров его я понял, что он лондонский мальчишка, бывший конюхом на Сити-роуд, но бросивший это ремесло, чтобы стать помощником лекаря. «К воню лошадей и лондонских трактиров я привычен, – сказал он мне. – Что мне мертвецы». Нам случалось вместе выпивать в соседнем пабе, где собирались и остальные анатомы, вследствие чего заведение пропахло покойницей, и другие посетители заходили туда редко. Мы с Джеком Китом обыкновенно сидели за низким деревянным столом и беседовали о дневных событиях.

– Отменная вам, Виктор, опухоль досталась.

– Рак кишки. Распад необыкновенный. Трудно было ее удержать.

– Надобно пользоваться большим и указательным пальцами. Вот так. Кое-что может застрять под ногтем, но это можно вымыть.

– Вы были в прекрасном расположении духа.

– Мне попалась опухоль, проедавшая мозг. Так и сочилась. Я ее промыл и взял себе. – Он похлопал себя по карману.

Росту он был небольшого и, выпив кружку-другую, готов был, как он выражался, «на Монумент ¹² вскарабкаться». Он декламировал лекции и речи, им прочтенные, читал наизусть восхищавшие его стихи. Помню, особую страсть он испытывал к Шекспиру.

– Вот где делается будущее, – сказал он однажды вечером. – Здесь. В анатомическом театре. Здесь нам предстоит найти путь вперед, к лучшей жизни. Здесь мы научимся облегчать человеческие страдания и болезни. Вы, и я, и наши товарищи – все мы должны со рвением трудиться на пользу общего дела! Нам необходима энергия, Виктор. Нам необходима уверенность. – На этом он разразился приступом кашля.

¹² *Монумент* – колонна высотой в 61 метр, воздвигнутая в Лондоне в память о Великом пожаре 1666 г.

Глава 5

За два дня до начала весеннего триместра я возвратился в Оксфорд. Биши уговаривал меня остаться в Лондоне, приводя в качестве довода радикальное начинание, с которым мы себя связали, и укоряя меня за то, что я, как он выражался, недостаточно болею за наше дело. Но мне, говоря по правде, хотелось поскорее возобновить свои собственные занятия. В Лондоне я повидал и услышал немало, однако ничто не произвело на меня впечатления столь глубокого, как демонстрация электричества мистером Дэви. Я горел нетерпением осилить все написанные по физической науке тома, древние и современные, и тем самым открыть тайные источники жизни; я желал посвятить себя этим поискам, и только им, полагая, что никакая сила на земле не способна сбить меня с пути к цели.

Войдя в колледж, я поздоровался с привратниками, как со старыми приятелями, однако их ответные приветствия прозвучали несколько сдержанно – мое имя по-прежнему было слишком крепко связано с Биши, что и вызывало их неприятие. Как бы то ни было, служанка моя в колледже была, казалось, искренне рада моему возвращению.

– Ах, мистер Франкенлейм, – сказала она, – я уж вас совсем заждаюсь.

Произношение моей фамилии давалось ей с большим трудом, и она имела обыкновение испробовать несколько разных способов в течение одного разговора.

– Ну и хлопот же у меня было с вашими бутылками!

– Весьма сожалею, Флоренс, если я причинил вам какие-либо неудобства.

– Бутылок-то, бутылок – и совсем полные, и наполовину, и вовсе пустые. Я и не знала, куда их деть, когда убиралась.

Она говорила о лаборатории, устроенной мною в спальне. Там было всего-то несколько реторт, трубок да переносная горелка, однако она испытывала панический ужас предо всем, что называла словом «медицинское». По некоей причине это напоминало ей о безвременной кончине ее мужа – событии, которое она с немалым удовольствием мне описывала, не скупясь на подробности.

– Так я их и оставила там, где были, – сказала она. – И не прикасалась к ним, мистер Франкентейн.

– Очень любезно с вашей стороны.

– Я своих господ вещи никогда не трогаю. Ни-ни. Как вам ехалось из Старой Коптильни? – Родом она была из Лондона, о чем никогда не переставала мне напоминать, но вышла замуж за человека из Оксфорда, недолго прожившего, да так здесь и осталась. – Небось туман был сильный.

– Увы, Флоренс, лил дождь.

– Вот жалость-то. – То обстоятельство, что город по-прежнему страдает от плохой погоды, казалось, было ей весьма приятно. – Зато хоть туман разгоняет. – Понизив голос, она прошептала: – А что мистер Шелли?

– У него все благополучно. Процветает в Лондоне.

– Тут о нем частенько говорят. – Она все шептала, хотя подслушивать нас было некому – Диким его считают.

– Нет, Флоренс, он не дикарь. Он человек мыслящий.

– Вот, значит, как это называется? Ну-ну. – Взявши мой сундук, она втащила его в спальню и принялась распаковывать мои рубашки и прочее белье. – А это еще что такое?

Услыхав ее вопрос, я тотчас понял, о чем она говорит. Среди белья я запрятал для сохранности небольшую, безупречно выполненную во всех тонкостях модель человеческого мозга, купленную мной у аптекаря на Дин-стрит. Он сказал мне, что это копия мозга некоего Дэви

Моргана, пользовавшегося дурной славой разбойника, которого повесили несколькими месяцами прежде.

– Ничего, Флоренс. Оставьте на столе.

– И не прикаснись к нему, мистер Франкенлейн. Его черви изъели.

Вошедши в спальню, я взял модель в руки.

– Это не черви. Это мозговые волокна. Видите? Они подобны океанским проливам и течениям.

Как мало известно людям о человеческом организме! Не нашлось бы и одного из тысячи

– из сотни тысяч, – кто задумывался бы о работе мысли и тела.

– Это противно естеству, – сказала она.

– Нет, Флоренс, это само естество. Вот это, полагаю, зрительная доля.

– Негоже вам, сэр, такие вещи мне рассказывать. – Она смотрела на меня с ужасом. – Я про такое и знать не хочу.

– Сумей мы развить эту область, мы способны были бы видеть на много миль окрест.

Разве это не было бы великим благом?

– Ну уж нет. Чтоб глаза наружу выскочили? Господи помилуй!

Я положил модель на рабочий стол, устроенный мной у окна комнаты.

– Боюсь, Флоренс, что вам предстоит и дальше пребывать в невежестве.

– По мне, сэр, и так хорошо.

Тогда мне не пришло в голову, что в словах Флоренс присутствовала некая инстинктивная правда: естественные чувства людей, сколь грубо ни выражаемые, были по-своему справедливы. Но к тому времени я уже навсегда отстранился от обычных стремлений человеческих. Мой ум заполняла собой одна мысль, одна идея, одна цель. Я желал достигнуть большего, куда большего, нежели мое окружение, и был всецело убежден, что мне предстоит проложить новый путь, исследовать неведомые силы и открыть миру глубочайшие тайны творения.

Я много читал в библиотеках Оксфорда, и это уводило меня в направлении весьма далеком от указанного моим добродетельным наставником, знавшим, казалось, одних лишь Галена с Аристотелем. Раз в неделю я подымался по лестнице в комнаты профессора Сэвилла, жившего на противоположной от меня стороне двора, где заставлял его сидящим в креслах с высокою спинкой; подле него стоял стакан с бренди и холодной водой. Начальное мое образование, полученное в Женеве, дало мне достаточные познания в греческом и латыни, и потому еженедельные обязательные переводы сложности для меня не представляли. Я успел сообщить ему, что интересы мои сосредоточены на росте и развитии человеческого тела, чему он, кажется, искренне поразился.

– Занятие сие не из тех, что подобают джентльмену, – сказал он.

– Но кто же за это возьмется, сэр, если не джентльмены?

– Разве в мире нет анатомов?

– Меня занимают тайны человеческой жизни. Есть ли предмет более важный?

– Но ведь обо всех этих вещах нам уже известно от Галена и Авиценны. – Сэвилл имел обыкновение, высказавши то или иное мнение, подыматься и ходить по комнате, вслед за тем возвращаться на прежнее место и лишь тогда пригубливать из стакана.

– Насколько я знаю, сэр, Гален изучал анатомию берберийской обезьяны.

– Совершенно верно. – Он совершил еще один вояж по комнате. – Не станете же вы предлагать, чтобы мы осквернили храм человеческого тела?

– Но как еще нам узнать, откуда берут начало основы жизни?

– Чтобы получить исчерпывающий ответ на этот вопрос, мистер Франкенштейн, достаточно открыть Библию.

– С Библией, сэр, я знаком хорошо...

– Очень на это надеюсь.

- Однако сознаюсь в собственном невежестве по части механизма как такового.
- Механизма? Потрудитесь изъяснить свою мысль.
- Из Книги Бытия, сэр, нам известно, что Господь создал человека из праха на земле, а затем вдохнул в его ноздри дыхание жизни.
- И что с того?
- Вопрос мой таков: из чего состояло это дыхание?
- Вы слишком много времени провели в обществе мистера Шелли. – Он вновь отправился на прогулку по комнате, а по возвращении к креслу сделал щедрый глоток бренди с водой. – Вы начинаете сомневаться в Священном Писании.
- Меня попросту мучает любопытство.
- Любопытство проявлять никогда не следует. Сие ведет к гибели. А теперь не обратитесь ли нам к предмету наших занятий?

Он принялся изучать мой перевод на греческий напечатанного в «Таймсе» сообщения о перспективах независимости Далмации. Вскоре я ушел от него.

Итак, в Оксфорде просвещения ждать было неоткуда. Я уже решил, что буду учиться столько, сколько необходимо для получения степени, главным образом ради отца, сам же, подобно паломнику, готовился к другого рода путешествию. Ум, которому свойственно честолюбие, полагается на себя. За пределами Оксфорда, в деревушке под названием Хедингтон, я нашел небольшой сарай и снял его у фермера за пустячную сумму, разъяснив, что я студент-медик и работаю с ядовитыми веществами и смесями, которые необходимо готовить вдали от мест, часто посещаемых людьми. К сараю, окруженному полями, вела тропинка, что было кстати. Я сказал фермеру, что для моих целей это подходит наилучшим образом. Так оно и оказалось.

Опыты свои на животном царстве я начал, смею надеяться, не причиняя ненужной или излишней боли. Изучая труды Пристли и Дэви, я узнал об использовании закиси азота как средства анестезии, а усыпляющий эффект белены, применяемой в больших количествах, известен мне был еще прежде. Тем не менее начал я с мельчайших созданий. Даже простой червь и жук-плавунец – удивительные для естествоиспытателя объекты. Муха под микроскопом превращалась в чертог наслаждений: сосуды глаза, кристаллы с множеством отблесков, были ослепительны, их переполняла жизнь. До чего они были сложны и одновременно до чего уязвимы! Все пребывало в равновесии столь хрупком – жизнь и свет от тьмы и небытия отделяла грань толщиной с волосок.

На рынке рядом с Корн-стрит я покупал горлиц, и ощущение теплого, быстрого дыхания под пальцами напоминало мне ускользающий пульс жизни. Не то ли самое тепло наполняло вольтовы батареи? Тепло сопутствовало движению и возбужденному состоянию, а движение, видимое и невидимое, являлось признаком самой жизни. Я верил, что недалек от великого открытия. Сумей я создать движение, и тогда уж ничто не помешает ему воспроизводить себя раз за разом, подобно тому как гармоничной чередой вздымаются волны, бьющиеся о берег! Мир пляшет по единому закону.

В те оксфордские дни я был столь полон надежды и энтузиазма, что от одного лишь избытка энергии нередко пускался бегом по окружавшим сарай полям. Поднимая взгляд на облака, колымавшиеся у меня над головою, я видел в них те же черты, что различал в жемчужном сиянии крыла мухи, в изменчивых оттенках глаза издыхающего голубя. Я полагал себя освободителем человечества, кому предстояло вывести мир из-под власти механической философии Ньютона и Локе. Если мне удастся, наблюдая все виды организмов, найти единый закон, если, изучая клетки и ткани, я сумею обнаружить один главенствующий элемент, тогда я смогу – кто знает! – сформулировать общую физиологию всего живого. Есть лишь одна жизнь, одна схема жизни, один созидающий дух.

Были, впрочем, в существовании моем и такие периоды, когда я просыпался на исходе ночи в ужасе. Первые предутренние часы вызывали во мне тревогу, и я, поднявшись с постели, мерил шагами темные улицы, словно тюремный двор. Но с первым же неясным появлением зари я успокаивался. Низкий, ровный свет по ту сторону заливных лугов наполнял меня чувством сродни мужеству. Оно мне было необходимо более, нежели когда-либо. Я принялся за анатомические опыты над собаками и кошками, которых покупал у жителей Оксфорда, у тех, что победнее. Каждому в отдельности я объяснял, что существо потребно мне для ловли мышей и крыс в моем жилище, долго уговаривать человека не приходилось. Усыпить животное с помощью закиси азота было несложно – я рассчитал, что сердце будет биться еще тридцать минут, прежде чем наступит безболезненная смерть. В эти краткие минуты я приступал к рассечению; тогда пол моей лаборатории превращался в лужу крови. Однако я не сходил с намеченного пути. Я стремился доказать, что органы любого существа не являются самостоятельными образованиями и что работа их определяется взаимодействием всех в совокупности. Следовательно, останови я работу одного – и остальные будут каким-то образом затронуты или повреждены. Так оно и оказалось. В своей экспериментальной философии я продвигался такими шагами, что все трудности на глазах у меня оставались позади.

На предпоследней неделе того триместра я получил письмо из Женевы от отца, где сообщалось, что сестра моя серьезно больна. Элизабет была моей точной копией во всем, не считая имени. Мы росли вместе: с самого младенчества вместе играли, правда, учиться вместе нам не довелось, но я пересказывал ей самое важное из своих школьных учебников. Говорили, что мы похожи и внешне, да и характер у нас обоих был одинаковый – нервный и беспокойный.

Я решил тотчас же возвратиться домой. Пакетбот до Гавра отходил от Лондон-бридж в следующий понедельник, и я поехал в Лондон двумя ночами ранее, чтобы раздобыть билет. Что и говорить, я надеялся увидеть Биши. С моего отъезда из города от него не было никаких известий, и мне не терпелось узнать о его приключениях в мое отсутствие. По прибытии в Лондон я отправился на Поланд-стрит, однако света в его окне не было. Я позвал его – ответа не последовало.

На корабле, идущем в Гавр, я взял небольшую каюту, но там до того сильно пахло бренди и камфорой, что я рад был проводить большую часть путешествия на открытой палубе. Путь вниз по Темзе ничем особенным не запомнился, разве что видом судов, медленно двигавшихся мимо в большом количестве; зрелище напоминало лес мачт. Однако близ устья реки меня поразили болота. Удаленность и одиночество этой местности (которой, по словам одного из пассажиров, сторонились из-за болотной лихорадки) взбудоражили мой дух. Полагаю, уже тогда я отчасти догадывался о природе будущих своих трудов и о необходимости тайной, молчаливой работы вдали от мест, посещаемых людьми. Разве не по этой дороге пустился я в полях под Оксфордом? Как бы то ни было, отплывая от Англии, я не предвидел того, что мне будет суждено стать несчастнейшим из людей.

Путешествие мое продолжалось по суше: из Гавра дилижанс довез меня до Парижа, оттуда я поехал в Дижон, а после – в Женеву. Мне не терпелось увидеть сестру, но в Париже я вынужден был сменить лошадей и отдохнуть ночь. Ранним вечером я приехал в гостиницу на рю Сен-Сюльпис. После действовавшего недавно запрета на поездки между Францией и Англией хозяин счастлив был принять моих английских попутчиков. Он созвал горстку музыкантов, и те стали играть во дворе, а его жена и дочери тем временем танцевали перед нами польскую мазурку. Таково галльское гостеприимство, о котором, несмотря на его сердечность, в соседних странах распространяется столько клеветнических слухов. Комнату мне предстояло делить с англичанином, путешествующим по делам, неким мистером Армitedжем. Он продавал очки, линзы и прочее в этом роде. Именно он предупредил меня о лихорадке в районе

устья Темзы; теперь же он успел угостить меня парочкой рассказов, где речь шла о торговле оптическими товарами, после чего я решил подышать воздухом.

Я вышел на улицу, и внимание мое тотчас привлекла очередь – группа парижан стояла, переступая с ноги на ногу, перед раздвижными воротами. Одни были явно бедны, другие состоятельны, третьи же принадлежали к тому смешанному типу, что в Англии называют потрепанной аристократией. Как бы то ни было, такое разнообразие меня заинтересовало. Люди с видом нервным и нерешительным стояли перед воротами, совершенно не разговаривая и отводя друг от друга глаза. Я спросил хозяина, стоявшего на крыльце гостиницы, что это означает. «Ах, *monsieur*, об этом мы не говорим». Почему же они не говорят об этом? «Это приносит гостинице несчастье. *C'est la maison des morts. La Morgue*».

Дом мертвых? Я, кажется, понимал, о чем он ведет речь. То было хорошо известное в городе учреждение, где в определенные часы дня неопознанные тела умерших выставлялись на обозрение, чтобы друзья или родственники могли их опознать. Кое-кто, несомненно, считал бы это зрелищем неприятным, но я рад был, что оно оказалось на моем пути. Ничто в природе не казалось мне достойным отвращения. Точно так же, как некоторым нравится гулять среди развалин, наслаждаясь следами былых времен, ощущением прошлого, так и я не видел ничего предосудительного в прогулках среди мертвых, разложившихся тел. Тело человеческое находится в непрерывном, день за днем, состоянии разложения; ткани и волокна его изнашиваются еще при жизни, и в созерцании этого процесса вблизи я не видел ничего пугающего. Коли уж я собираюсь овладеть искусством и методой анатомии, то обязан наблюдать и естественное гниение человеческого тела.

Итак, я присоединился к стоявшим в очереди парижанам и, когда служитель отпер раздвижные ворота, двинулся вперед, в здание морга. Внимание мое тут же привлек запах, странный и не лишенный приятности, совсем как тот, что идет от мокрых зонтов или же от сырой соломы, какую нередко случается обнаружить на полу двухколесной повозки. В воздухе чувствовались испарения, словно в помещении установлен был угольный камин. То была длинная, с низким потолком и небольшими окнами комната, напоминавшая изнутри лондонскую кофейню. Там, где могли бы находиться сиденья и отдельные места для посетителей, помещался ряд неглубоких отсеков с укрепленными в них наклонными платформами. На них разложены были тела умерших, над которыми, дабы помочь опознанию, висела их одежда. Каждое тело защищено было от толпы любопытных толстым стеклом, подобно товару в витрине лавки. Во время моего посещения их было пять, трое мужчин и две женщины, и определить причину их смерти представляло собой недурную задачку. Один мужчина, средних лет, грузный, с тяжелой челюстью и бритой головой, походил на сгоревшего; однако красно-синие подтеки и распухшие конечности убедили меня в том, что он утонул. Догадка моя подтвердилась, когда я заметил внизу лужу воды, просочившейся из тела. Лицо женщины по соседству было почти неузнаваемо – походило оно скорее на гроздь помятого, перезрелого винограда. Причины этих диких ударов, нанесших урон ее внешности, представить себе я не мог, разве что предположить некое жуткое происшествие. Как бы то ни было, она заинтересовала меня. Остальная часть ее тела была совершенно нетронута, не считая нескольких подтеков крови и грязи, и мне подумалось, что, будь у нее новая голова, она могла бы стать предметом чувственного желания. Опознать ее мог лишь любовник или, возможно, родители.

Хоть я вовсе не относился к этим зрелищам с легкостью, ни малейшего отвращения они во мне не вызывали. Более всего меня захватывала любопытная неподвижность тел. Стоило основе жизни покинуть их, как они превратились в пустые комнаты, по неподвижности превосходившие любую восковую фигуру или манекен. Глядя на восковую фигуру, возможно представить себе, что она способна дышать и двигаться, но подарить жизнь этим холодным членам не способен был никакой акт сочувственного воображения. Я глядел на предметы, которым никогда не суждено было взглянуть на меня в ответ.

В другом отсеке я обнаружил тело пожилого мужчины, на котором не было ни единой царапины. По его загнутым ботинкам, поставленным рядом с ним, я понял, что он был мастеровым или же работником. Как бы то ни было, его отличала одна любопытная черта. Вокруг глаз его я заметил легкую сырость, а на щеке его застыло нечто, напоминавшее слезу. Этот остаток чувств на уже опустевшем лице воздействовал на меня пристрастнейшим образом. Я повернулся, чтобы уйти, и на мгновение задержался в толпе, собравшейся вокруг. Посмотревши в сторону открытой двери в дальнем конце низкой комнаты, я на миг поймал взглядом пожилого мужчину, стоявшего подле нее. Он в точности походил на человека, которого я только что видел за стеклом, словно тот с помощью некоего вмешательства черной магии смахнул слезу и ожил. Тут он улыбнулся мне. Я знал, что все это мимолетная иллюзия, но ужас мой от этого не уменьшался. Я медленно пошел к двери, где служитель морга протянул руку за *pourboire*¹³, однако фигура старика уже исчезла. С облегчением оказавшись на свежем уличном воздухе, я попытался забыть этот случай, но он не шел у меня из головы и когда я взбирался по лестнице в свою комнату в гостинице.

Мой спутник Армитедж лежал на своей постели, полностью одетый. Продолжая думать об увиденном в морге, я был на миг ошарашен его присутствием.

– А, мистер Франкенштейн, – сказал он. – Не отужинаете ли вы со мной? Вино здесь очень дешево. – У него был низкий, глубокий голос, приводивший меня в раздражение.

– Боюсь, мне придется рано лечь. Карета в Дижон отправляется на заре. Дорога предстоит трудная.

– Значит, вам должно подкрепиться. – Он был старше меня, лет тридцати или около того, но манерами обладал необъяснимо старомодными. – Знаем, знаем, как вы, оксфордские джентльмены, морите себя голодом.

– Откуда вам известно, что я из Оксфорда?

– Так написано на вашем багаже. Зрение, понимаете ли. Хорошее зрение. – Мне уже известно было, что он торговец оптическими товарами. – Глаз – организм деликатный. – Говорил он медленно и с большой значительностью. – Плавает в море воды.

– Виноват, но это не так.

– Неужели?

– У него имеются корни и побеги. Он подобен вьющемуся растению, присоединенному к почве – мозгу.

– Возможно ли сказать, что он подобен лилии? Плавает на поверхности.

– Возможно, мистер Армитедж.

Добившись своего, он широко улыбнулся и похлопал меня по спине, словно поздравляя с тем, что я с ним согласился.

– Давайте спросим для вас хлеба. И мяса. И вина.

За простым ужином, который принесла нам горничная, мы обменялись всегдашними фразами. Жил он на Фрайди-стрит, близ Чипсайда, со своим отцом. Отец его изготавливал линзы и очки в мастерской на первом этаже их дома, он же выполнял роль коммивояжера. Воспользовавшись наступившим миром, он поплыл во Францию с образцами новейших изделий своего отца.

– Линз более тонко отшлифованных вам не найти, – говорил он. – Отдаленный шпиль в лунном свете и тот позволяют различить.

– Делает ли он микроскопы?

– Разумеется, делает. В данный момент он занимается прибором, у которого, если мне позволено будет так выразиться, цилиндрические глаза. С его помощью возможно будет ясно рассмотреть мельчайший предмет.

¹³ Чаевые (фр.).

- Меня бы это чрезвычайно заинтересовало.
- Вот как? Что вы изучаете в Оксфорде, мистер Франкенштейн?
- Меня занимают тайны человеческой жизни.
- И только-то? – Он улыбнулся мне. Я не мог себе представить, что он способен рассмеяться.
- Именно так я узнал о нервных окончаниях глаза.
- Выходит, вы анатом? – Внезапно он сделался чрезвычайно мрачен, словно я вторгся в некое приватное дело.
- Не совсем. Это не главное мое занятие. Не могу похвастаться особым умением.
- Известно ли вам, как долго остается живым глаз, вышедши из своей оправы?
- Понятия не имею. Вероятно, несколько минут...
- Тридцать четыре секунды. После чего свет его угасает навеки.
- Откуда вам это известно?
- Оказавшись вне глазницы, высыхают они крайне быстро. Не спрашивайте меня, откуда мне это известно.
- Но что, если держать их в водном растворе – что тогда?
- Тогда, мистер Франкенштейн, сочтут, что вы задаете слишком много вопросов.
- Он принялся очень медленно есть хлеб и мясо, лежавшие у него на тарелке.
- Мне вспомнилась фраза из Теренция.
- Ничто человеческое мне не чуждо, мистер Армитедж.
- Не ответив, он продолжал жевать мясо. То была, помнится, телятина, обваленная в сухарях, как принято у меня на родине. У меня она не вызывала аппетита. То и дело он поглядывал на меня; взгляд его не выражал ничего особенного помимо спокойного наблюдения. Наконец он заговорил:
- У моего отца есть занятный подмастерье. С четырнадцати лет он работал на доктора Джона Хантера. Известно ли вам это имя?
- Да, и очень хорошо.
- Слухи о репутации Хантера – хирурга и анатома – дошли до меня еще в Женеве, где была переведена на французский его «Естественная история зубов».
- Доктору Хантеру, мистер Франкенштейн, прекрасно удавалось изучение тела. Он превратил это в свое ремесло.
- Да, я об этом читал.
- Хирургом он был превосходным. Мой отец видел, как он изъяснял камень из желчного пузыря менее чем за три минуты.
- Неужели?
- И пациент не умер.
- Армитедж опять сосредоточился на своей тарелке – теперь он с нарочитой неспешностью подтирал на ней крошки куском хлеба, смоченным в вине.
- Тот камень до сих пор хранится у моего отца.
- Пациенту он был не надобен?
- Нет. Доктор Хантер называл его кладом.
- Но что же произошло с глазами?
- Я же говорил вам. Пациент остался жив – к немалому своему удивлению.
- Не с его – с теми глазами, что сохранялись в воде. Полагаю, их вынули из тел людей, которым повезло менее.
- Армитедж не сводил с меня взора, все столь же необъяснимо бесстрастного.
- Ежели пациент умер в операционном театре, кому он тогда принадлежит?
- Я ничего не сказал, полагая, что и без того уже сказал слишком много.

– Доктор Хантер придерживался того мнения, что, поскольку тело поручено его заботам, ответственность за него лежит на нем. Оно, в некотором смысле, становится его собственностью.

– Не могу не согласиться.

– Превосходно. Я говорю с вами сейчас, целиком полагаясь на единодушие, какое бывает меж добрыми приятелями. Факты эти не пользуются широкой известностью за пределами медицинских школ.

Рот мой пересох, и я проглотил стакан вина.

– Доктор Хантер полагал, что члены и органы скончавшегося пациента представляют большую ценность для его студентов, нежели для земли, в которой им иначе суждено было бы лежать. Одного молодого человека, из ассистентов доктора Хантера, в особенности интересовала селезенка. Вот она и... – Армитедж прервался и, к удивлению моему, широко улыбнулся. – Как принято говорить у нас на Чипсайде, мистер Франкенштейн, она пошла из-под прилавка.

– А вашего отца в особенности интересовали глаза?

– Он всегда обладал безукоризненным зрением. Это было замечено еще в раннем возрасте. Он, как это бывает с мальчишками, заинтересовался этим предметом. Не знаю, есть ли у вас в стране телескопы для путешественников? – Я покачал головой. – Их устанавливают на проезжей дороге, и за небольшую сумму их позволяет использовать в течение пяти минут. На Стрэнде всегда стоял один такой. Мальчишкой отец мой его очень любил. Вот так, малопомалу, он и заинтересовался связью между линзой и глазом. Известно ли вам, что глаз обладает собственной линзой, пропускающей воздух, подобно пузырьку газа?

– Я слышал об этом.

– Покрыта она необычайно тонкой пленкой прозрачного вещества, которое отец мой назвал глазной тканью.

– Так, значит, отец ваш – экспериментатор?

– Не знаю, можно ли его так называть, мистер Франкенштейн. – Армитедж налил нам обоим еще по стакану вина. – Расскажу вам еще секрет. Бывали, разумеется, случаи, когда пациент не умирал – к великому удовлетворению доктора Хантера. Но при этом возникала другая проблема.

– Какого характера?

– Проблема нехватки, сэр.

– Мне кажется, я понимаю вас. Нехватки трупов. Готового материала.

– Предмет этот обыкновенно не возникает в беседе. Однако для доктора Хантера и его ассистентов это была постоянная тема разговоров.

– Как же дело разрешилось?

– Вы, полагаю, слышали о воскресителях?

– Только из газет.

– В наши дни в публичной печати об этом упоминается редко. Однако они по-прежнему действуют.

Я знал о деятельности этих расхитителей могил, или, как их чаще называли, воскресителей. Об их действиях, даже в Оксфорде, время от времени писали в газетах, но никаких сенсаций это не вызывало. В Лондоне они были более активны – там они выкапывали свежие тела недавно умерших и за большие суммы продавали их медицинским школам.

– Доктору Хантеру пришлось воспользоваться их услугами?

Армитедж кивнул:

– С неохотой. Он говорил моему отцу, что коль эти похищенные тела помогают вернуть к жизни других, то он не способен в полной мере сожалеть о подобном их использовании.

– Жизнь за смерть – сделка выгодная.

– Вы будете желанным гостем на Чипсайде, мистер Франкенштейн. Мой отец держался того же мнения, что и вы, и помогал в переговорах с людьми, занимавшимися делом воскресителей. Он весьма близко с ними сошелся. По его словам, трезвых среди них не бывало ни одного.

– Вы говорите, они по-прежнему действуют?

– Определенно. Это семейное дело. Они часто посещают определенные таверны, где с ними возможно договориться... – Он поднес руку к губам, изображая, будто пьет. – К несчастью, одного из них судили – за покражу серебряного распятия с одного из тел. Проболтавшись, он назвал имя доктора Хантера.

– И тогда?

– Все довольно скоро утихло. Однако появился памфлет, где имя его связывалось с вампирами. Приходилось ли вам слышать об этом явлении, мистер Франкенштейн?

– Мадыарский предрассудок. Интересы не представляет.

– Рад это слышать. В то время доктора Хантера это беспокоило, но работа увлекла его вперед.

– Его жизнь посвящена была работе.

– Да, верно. Если мне позволено будет так выразиться, вы прекрасно все понимаете. – Он выпил еще вина. – Вы говорили, что изучаете тайны человеческой жизни. Позвольте спросить, какие именно аспекты вас интересуют?

Полагаю, я на миг замешкался.

– Меня занимает устройство всего, что наделено жизнью.

– Какова ваша цель?

– Я хочу открыть источник жизни.

– Но ведь это включает в себя и человеческое тело?

– Я намерен двигаться постепенно, мистер Армитедж.

– Предприятие колоссальное, что и говорить. Полагаю, лишь человеку молодому мог прийти в голову подобный план. Потрясающе. Мне очень хотелось бы познакомить вас с моим отцом.

– Непременно. Мне хотелось бы увидеть его глаза.

На это он громко рассмеялся и снова похлопал меня по спине, будто лучше меня не было человека на всей земле.

– Так тому и быть. Но будьте осторожны. Он видит людей насквозь.

Глава 6

Ко времени приезда в Женеву я чувствовал себя больным и утомленным – дорога через Францию была тяжелой, а из-за сильного дождя, начавшегося, как только дилижанс покинул Париж, ехать стало неудобнее во сто крат. Дух мой поддерживало одно лишь стремление увидеть сестру. Отцовский дом находился на рю де Пургатуар, недалеко от собора; купил он его для своих деловых предприятий в городе уже давно, и я весьма хорошо знал эту округу. Взяв в носильщики местного мальчишку, я заторопился вперед по знакомым крутым улицам над озером.

Дома меня встретила тишина. Наконец, после многократного стука, к двери подошла молодая служанка. Я ее не узнал, а туговатая на ум девушка, казалось, не способна была понять, что в семействе может быть сын. В результате моих длинных разъяснений на ее родном наречии она неохотно позволила мне войти в дом. Возможно, она заметила некое сходство между мной и Элизабет. От нее я узнал, что сестра моя находится в санатории в Версуа, небольшом городке на берегу озера, а отец снял там виллу, чтобы быть рядом с нею. В столь поздний час нечего было и думать о том, чтобы туда отправиться, и я, изможденный, едва ли не наугад выбравши спальню, погрузился в глубокий сон.

На следующее утро я пешком отправился в Версуа. По берегу до него было не более двух или трех миль, и я воспользовался хорошей погодой, чтобы насладиться возвращением в родные края. Приятно было вспомнить спокойствие и добрый нрав моих соотечественников, в особенности после угрюмости англичан; горный же ландшафт был, разумеется, во много крат лучше оксфордского, где нет ничего выдающегося, разве что подернутые дымкой Темза и Червелл. Размышляя об этих вещах, я, не прошло и часа, добрался до места.

Версуа покоится над озером на небольшом естественном плато, а владения санатория простираются вниз, к воде. Это место всегда было источником здоровья; здесь найдены были следы римского храма Меркурия. Местный народ считает, что бог до сих пор где-то здесь, я же приписываю животворную силу воздуха электрическим разрядам, происходящим в горах. Атмосфера этой местности напоена живым духом.

Я направился к воротам санатория и добился, чтобы меня впустили: тому способствовало мое имя – семейство Франкенштейн в чести у многих. Прежде мне ни разу не доводилось бывать в подобном учреждении; это же, полагаю, было одно из первых такого рода, построенное согласно научным принципам общественного здравоохранения. Меня провели в комнату сестры, когда же оказалось, что она пуста, мне указали дорогу к берегам озера. Именно там, как мне сказали, любила сидеть с шитьем Элизабет.

Я едва узнал ее. Она сделалась до того измождена и худа, что казалось, у нее нет сил подняться и поздороваться со мной.

– Рада тебя видеть, Виктор. Я надеялась, что ты приедешь.

В медленной, неуверенной ее манере была такая примиренность с судьбой, что я готов был зарыдать. Изменился и голос ее – он сделался более высок и печален.

– Разве мог я не приехать? Я выехал тотчас же, как получил известие от папы.

– Папа слишком переживает.

– Он обеспокоен.

Она улыбнулась до крайности покойно, словно признавая свое поражение.

– Я часто думала о том, как тебе живется в Англии. Мне казалось, ты далеко-далеко...

Я подошел к ней и поцеловал в лоб.

– Но теперь ты дома. – Она снова попыталась подняться со скамьи.

– Сядь, Элизабет. Тебе не следует утомляться.

– Я всегда утомлена. К этому я привыкла. Разве не прекрасное место?

Мы были у озера, на небольшом полуострове, поросшем травой и деревьями; поднялся ветер, что здесь случается нередко, и поверхность воды взволновалась. Я взял ее шаль, которую она положила подле себя на плетеную скамью, и укрыл ее плечи.

– Мне нравится ветер. От него я чувствую себя частью этого мира.

Глаза ее от болезни стали больше; казалось, она смотрит на меня с невиданным прежде вниманием.

– Что ты шьешь?

– Это тебе. Женевский кошелек. – Так называли небольшие, искусно вышитые кошельки, какими в этой местности пользовались купцы. – Я вышиваю на нем портрет папы. Пусть останется тебе на память, когда ты отправишься в странствия.

– Я предпочел бы, чтобы у меня был твой портрет.

– О, я уж не та, что была. – Она взглянула на горы за озером. – По крайней мере, я не состарюсь.

– Прошу тебя, не говори...

Она снова внимательно посмотрела на меня. В ее истощенном лице я, как мне думалось, различил некое видение старости, которой ей было не достигнуть.

– Я не боюсь правды, Виктор. Солнце мое закатывается. Я знаю.

– Здесь ты поправишься. Для твоего недуга существуют лекарства.

– Называется это чахоткой. Хорошее слово. Я чахну. – Я собирался было сказать что-то в утешение, но она подняла руку: – Не надо. Я к этому готова. Мне представляется величайшей удачей то, что я могу сидеть здесь, подле нашего любимого озера. Знаешь ли, оно со мною разговаривает.

Внезапно ее охватил приступ кашля, мучительный и долгий. Я хотел заключить ее в объятия и успокоить, но она, полагая, не желала утешения.

– Озеро – компания вполне веселая. Напоминает мне обо всех счастливых днях, что я знала. Рассказывает мне о твоих великих приключениях в Англии.

– О чем еще?

– Оно говорит со мной о покое.

– Элизабет... – Я опустил голову.

– Не надо слез, Виктор. Я вполне довольна. Порой я сижу здесь ночью...

– Позволяют ли это доктора?

– Мне удастся ускользнуть. Во время сна нас не беспокоят, а возвращаясь я всегда до восхода солнца.

И вот я сижу тут в темноте, гляжу на воду. На некоторых лодках есть керосиновые лампы, и ночью они плывут передо мною, словно частички светящегося пламени. Это так ободряет. Часто я думаю: вот, должно быть, на что похожа смерть – на созерцание дальних огней. Ах, вот и папа идет.

Отец шел по лужайке к нам. Одет он был строго, на нем был темно-зеленый сюртук и галстук; лишь быстрый шаг его указывал, что ему не по себе.

– Виктор, тебе следовало зайти ко мне.

– Я прибыл в Женеву вчера поздно вечером, папа. Времени не было. Разве вы не получили письма, что я послал из Оксфорда?

– Я ничего не получал.

Я понял, что вид Элизабет сильно растрогал его; мне ясно было, что ее состояние ухудшается с каждым днем.

– Я забросил дела в Женеве. Ты ела сегодня, Элизабет?

– Немного хлеба, размоченного в молоке, папа.

– Тебе необходимо есть. – Он положил руки ей на голову, будто желая благословить. – Тебе необходимо набираться сил. Хорошо ли тебе спалось?

– Да, превосходно.

– Хорошо. Еда и отдых. Еда и отдых. – Нагнувшись, он поправил шаль у нее на плечах. – Ветер дует прямо с гор. Не возвратиться ли тебе в комнату?

– Доктора превозносят достоинства свежего воздуха, папа.

– Вполне возможно. Но видела ли ты, чтобы они сидели у озера? Мне самому становится прохладно. Виктор, помоги мне увести твою сестру.

– Я вполне в состоянии идти, папа.

– Разумеется, Элизабет. Мы пойдем рядом с тобой. Виктор, возьми сестру за руку.

Когда она поднялась с плетеной скамьи, я понял, что она очень слаба – она словно чуть покачивалась на ветру, и на мгновение мне показалось, будто она потеряла равновесие. Она оперлась на меня и засмеялась, как бы над собственной немощью.

Дорога к санаторию шла слегка в гору, и, когда мы стали медленно подниматься по гравийной тропинке, уводящей от озера, она ухватила за мою руку. Отец шагнул рядом с нами по траве, склонив голову в раздумье, но когда мы приблизились к двери здания, он прошел вперед. Позже он сказал мне, что хотел поговорить с одним из врачей в отсутствие Элизабет. Я проводил сестру в ее комнату.

– Папа очень печалится, – сказала она. – Надеюсь, ты сможешь его успокоить.

– Как же это сделать?

– Не знаю.

– Элизабет, я не могу здесь оставаться. Я не могу поселиться в Женеве.

– Я понимаю. Тебе здесь не место. Ты всегда горел честолюбием.

– Не знаю, как мне в этом повиниться.

– Я и не жду ничего подобного. Это похвально. Я всегда гордилась тобой, Виктор. С тех самых пор, когда ты был мальчиком, я наблюдала за тобой с восхищением. Помнишь, ты показывал мне, как живет цыпленок в курином яйце? Ты его изучал. Если тебе хотелось что-то познать, ты все подчинял своему желанию. – Говоря, Элизабет оживилась, словно возвратившись в прежние, до болезни, времена. – Ты докучал людям вопросами, на которые у них не было ответа. Почему облака меняют форму? Почему разрезанный червяк разделяется на два живых существа? Почему осенью листья меняют цвет? – Она замолчала. – Добейся успехов в науке, Виктор. Стань великой личностью.

В комнату вошли папа с молодым человеком, который поздоровался с Элизабет в манере самой непринужденной. Я решил, что это один из ее врачей, однако ж он мне не понравился.

– Элизабет, – сказал он, – самая терпеливая из моих подопечных. Она переносит банки и пластыри без малейших жалоб.

– Рад это слышать, – ответил папа. – Хорошо ли она ест?

– Она поддерживает свои силы. Мы полны самых лучших надежд.

В моих глазах это походило на маленькую комедию, разыгранную ради Элизабет, но выражение усталости на ее лице убедило меня в том, что на нее она не подействовала.

– Думаю, нам следует тебя оставить, – сказал я. – Ты утомлена.

– Да, – сказал папа. – Ей необходимо отдохнуть. Отдых есть лечение.

– Позволительно ли мне сознаться в том, что я устала? – Она взглянула на врача, который внимательно за нею наблюдал.

– Разумеется. Не забудьте, что перед ужином фортепьянный концерт. Мы будем слушать Моцарта.

– Теперь я уже не люблю слушать музыку.

Перед тем как уходить, отец обнял ее, вновь уговаривая есть получше и спать. Я сомневался в том, что она послушается его наставлений. Слишком далека была она от этого мира, чтобы обращать внимание на подобные вещи. Как только мы ушли от нее, глаза отца наполнились слезами. Я никогда прежде не видел его плачущим.

- Ей не жить, – сказал он. – Доктору это известно.
- Но ведь есть какая-то надежда?
- Ни малейшей. Доктора сказали, что улучшение невозможно. Чихотка поразила ее легкие.
- Но ведь доктора могут ошибаться.
- Ты слышал, как она дышит? Доктор сказал мне, что прошлой ночью рот ее был полон артериальной крови.
- Что же нам делать?
- Ждать. Что же еще?
- Ее более не греет солнце.
- Что такое?
- Я говорил слишком тихо, и он меня не расслышал.
- Тяжелое время, папа.
- Будет еще тяжелее. Мы должны лелеять твою сестру.

Смерть наступила двумя днями позже. Элизабет обнаружили утром сидящей в кресле у постели. Сказали, что она не страдала; не знаю, как это удалось определить. По настоянию отца похоронили ее на маленьком кладбище в Шамони, в деревне, где находилось наше родовое поместье. Элизабет положили в свинцовый гроб, и мы все вместе отправились по петляющей дороге прочь из Женевы, в горы. Стоит ли говорить, что путешествие было печальным. Все, что я теперь о нем помню, – сладкий запах горящих бревен, сопровождавший нас часть пути.

Когда мы добрались до нашего старого дома, я жаждал снова увидеть чистую белизну снега, к которому не прикасался никто на свете. Из окна моей комнаты виден был Монблан и вершина, которую мы называли Л'агилль дю Миди; снег на верхних склонах сиял, освещенный солнцем, а нижняя часть горы все еще оставалась в тени, покрытая серым снегом, с нее чередой сбегали в долину деревья. Ничто не мешало взгляду простираться вдаль. Видны были каменистые участки, до которых никогда не добирался свет, русла, по которым никогда не текла река, странной формы скалы, вырубленные силами, каких я не мог себе представить. Все было окутано вечным покоем. То был покой, в который теперь вступила Элизабет. Но тут громкое птичье пение вернуло меня обратно на землю.

Вечером накануне похорон пришла буря. Густые облака покрыли горы, затянув их вершины серой дымкой, что опускалась все ниже. Блики солнечного света касались земли, а стоило подняться ветру, как листья на деревьях начинали трепетать подобно скрипкам. Когда в склон горы ударила молния, выглядело это так, будто по земле хлестнули прутом. Огонь сверкал по всему небу; гром переместился и шел, казалось, низом, под горами. Затем горы исчезли из виду. В воздухе висела тяжесть ожидания, в нем чувствовался аромат грозы. И тут на общинном выгоне, поросшем травой, я увидел девочку, игравшую с двумя собачонками. Как мне хотелось в тот момент, чтобы Элизабет возвратилась и увидела это вместе со мной! Зная, как ее оживить, я сделал бы это! Невысказанная мысль моя слилась со вспышкой молнии, возникнув в тот же миг.



Звон колоколов церквушки в Шамони, раздавшийся, когда ее опускали в землю, словно отражался от скал и снега. Меня вновь переполнило чувство, знакомое с детства, – как будто колокола неким образом оказались внутри горы и звук их проникает сквозь ее толщу.

После похорон, на которых присутствовали большинство жителей Шамони, я не находил себе места. Мне необходимо было двигаться. И потому я возвратился в горы. Я стал карабкаться вверх через хвойный лес, окаймлявший предгорья, с трудом удерживая равновесие

среди каменистых уступов и корней, то и дело затруднявших мое восхождение. Были тут и ручейки, стремительно падавшие с ледников на верхних склонах. Наконец я нашел вьющуюся тропинку, которою ходили местные крестьяне. Мне хотелось взобраться выше, еще выше, ступить на Л'агилль дю Миди. Где-то поблизости раздался голос сурка, и этот пронзительный зов заставил меня осознать свое одиночество. Упав я здесь и умри, тело мое вскоре покроют лед и снег; реликт моего времени, оно сохранится на многие века, как установлено современными опытами по замораживанию, и не подвергнется разложению.

Воздух тут был более разреженным, и я ощущал, как в теле моем пульсирует кровь. Это было прекрасно – почувствовать силу жизни, однако в бескрайнем одиночестве, где меня омывали потоки вселенной, это порождало еще и чувство сродни ужасу – чувство, когда осознаешь, сколь могущественно бытие, и в то же время понимаешь, сколь оно хрупко. Я лежал на замерзшей земле, но холода не ощущал. Я окликнул сурка, подражая его голосу. В отклике живого существа прозвучала жалобная нота, словно оно не поняло приветствия. Я крикнул опять, твердо уверенный в том, что вся жизнь – единое целое, и теперь в отклике мне послышался трепет узнавания.

После смерти Элизабет отец как будто устал от собственной жизни. Он очень быстро постарел, забросил дело по продаже товаров за границу, созданное им за многие годы. Отказавшись возвращаться в Женеву, он заперся в своем кабинете в Шамони, где просиживал от зари до сумерек, глядя в окно на горы. Вечерами он обедал вместе со мной, но разговаривали мы мало. Впрочем, ему случалось изливать душу, переполненную чувствами.

– Ты занимаешься науками, – сказал он мне однажды вечером. – Можешь ли ты мне изъяснить, почему самые жалкие создания обладают жизнью, тогда как Элизабет лишена ее навеки?

– Дар этот не вечен, отец.

– Этот мотылек полон жизни. Видишь, как он кружит у пламени свечи? Радует ли его, по-твоему, его существование?

– Он словно бы танцует. Всем живым существам должно расходовать свою энергию.

– И все-таки этой жизни, этой радости придет конец.

– Мотылек не знает о смерти.

– Стало быть, он полагает, что бессмертен?

– Понятие бессмертия ему неведомо. Он есть. Этого довольно. Он не живет во времени.

– Сила существования, которой он обладает, – возможно ли ее найти?

– Что вы под этим подразумеваете?

– Существует ли некая сущность, некая жизненная искра?

– На этот вопрос, отец, я не могу ответить. Это постоянный предмет споров, но к удовлетворительному заключению прийти никому не удастся.

– Стало быть, мы не знаем, что есть жизнь.

– Нет. Ей невозможно подобрать определение.

– На что же годны все твои науки и занятия, если они не позволяют понять самого важного?

– Все, на что мы способны, – двигаться от известного к неизвестному.

– Но когда неизвестное столь велико...

– Оно тем паче заставляет меня не жалеть сил, отец.

Мотылек по-прежнему порхал вокруг свечи, и я поймал его, сложив руки. Я чувствовал, как его бледные крылышки бьются о кожу моих ладоней, и внезапно испытал ощущение восторга.

– Я пытаюсь отыскать этот дух жизни.

– Что же думают на этот счет твои профессора в Оксфорде?

– О, они об этом не знают. – Я моментально пожалел о своем скором ответе.
– Стало быть, это тайные поиски?
– Не тайные. Этим занимаются многие другие. Мы работаем независимо друг от друга, стремясь к одной и той же цели.
– Выходит, хорошо жить в этом веке?
– О да. – Я раскрыл ладони, и мотылек неуверенно выпорхнул в сумеречный воздух. – Предстоят великие открытия. Мы откроем тайны электрического потока. Мы построим огромные соборы из вольтовых батарей, чтобы воссоздать молнию.
– И создать жизнь?
– Кто знает? Кто способен дать ответ? Возможно, я не застаю этого.
– Ты всегда отличался настойчивостью, Виктор. Я верю – какую бы задачу ты перед собою ни ставил, ты непременно в ней преуспеешь. Чего бы тебе хотелось?
– Мне хотелось бы вернуть к жизни Элизабет.
Он опустил голову, но внезапно внимание его привлёк слабый грохот в горах у нас за спиной.
– Лавина, – произнес он. – Что ж, сумей ты их покорить, Виктор, быть тебе знаменитым. – С этими словами он вздохнул.

Спустя несколько недель после похорон он заразился инфлюэнцей и начал слабеть день ото дня. То был для меня урок: так разум управляет телом. Жизненная сила обладает природою не только физической, но также умственной и духовной. Стоило отцу моему разувериться в жизни, и внутренние силы начали покидать его. Вместо того чтобы лежать в постели, он продолжал сидеть в кресле у себя в кабинете. Любовь его к книгам была такова, что он, полагая, не желал с ними расставаться. О делах, которые он поручил своему доверенному служащему, мсье Фабру, он ни единожды не заговаривал. По сути, он ни единожды не завел связного, долгого разговора о чем бы то ни было. «Деньгами пользуйся с толком, – сказал он мне однажды вечером, в момент, когда я думал, что он спит. – Пusti их на достойное дело». Я был единственным его наследником и вполне сознавал, какие на меня возлягут финансовые обязательства. «Все, что в человеческих силах, тебе по плечу». Затем он снова погрузился в молчание.

Я сидел подле него, когда он умер. Я читал ему из «Страданий молодого Вертера» Гете – этот роман я всегда намеревался изучить, а поскольку достоинства его превозносил передо мною Биши, энтузиазм мой был тем более велик. Отец обладал превосходным знанием немецкого, однако понимал ли он мои слова, не знаю – возможно, что он к ним и не прислушивался. Мне всего лишь хотелось уверить его в том, что я с ним. Внезапно он открыл глаза.

– Не в том дело, что Вертер слишком много любил, – произнес он. – Он слишком долго жил. – Сказавши это, он тихо отошел.

Я ожидал некоей перемены в момент смерти, некоего ощущения ухода, но не мог предвидеть того, чему стал свидетелем. Казалось, он никогда и не был живым; казалось, он возвратился в некое предыдущее состояние, в каком находился прежде, чем наполниться жизнью. Он ушел обратно. Я пощупал у него пульс, потрогал сбоку шею, но все было кончено.

Итак, еще одного Франкенштейна зарыли в холм позади маленькой церкви в Шамони; я был единственным из близких родственников, при этом присутствовавших, однако следом за мною к могиле подошли домашние слуги, а также те, кто служил у отца, да те самые обитатели деревни, что были на похоронах Элизабет. Я не сдерживал слез – возможно, впрочем, оплакивал я самого себя.

Я провел в Швейцарии два месяца, в течение которых привел в порядок свои дела и передал управление компанией мсье Фабру, которому отец всегда доверял. В письме к ректору колледжа я изъяснил причины своей задержки и попросил у него отпуска до следующего три-

местра; разрешение, в согласии со сводом уставов, было дано, и я с удвоенным нетерпением и честолюбием ждал, когда смогу возвратиться к своим занятиям. Теперь я был наследником большого состояния, которым мог пользоваться бесконтрольно, ни перед кем не отчитываясь. К тому времени я уже твердо вознамерился пустить его на достижение своих целей в науке изучения жизни.

Были и другие причины, по которым я рад был возвратиться. Я несколько месяцев не получал никаких известий от Биши, и мне не терпелось узнать обо всех его подвигах в Лондоне. Теперь я обдумывал намерение снять в городе просторный дом, где мы с ним могли бы жить, тесно общаясь. Были у меня и другие планы, составленные в голове до того точно, словно подле меня сидел архитектор. Я намеревался создать огромную лабораторию, чтобы заниматься там опытами, поставив дело на широкую ногу. Мне хотелось создать «галерею жизни», где были бы выставлены все известные формы примитивного существования. Говоря начистоту, я хотел стать благодетелем человечества. Итак, ранней осенью того щедрого на события года я возвратился, полный энтузиазма и предчувствий, в Англию. Я полагал, что в Лондоне человек с деньгами в кармане является хозяином своей судьбы. Однако тут, как мне предстояло убедиться, я ошибался.

Глава 7

По прибытии в Лондон я снял комнаты на Джермин-стрит, предусмотрительно распорядившись, чтобы тяжелый мой багаж доставили в Оксфорд до моего приезда туда. Едва успев проглотить тарелку говядины в трактире рядом с церковью Святого Иакова, я направился на Поланд-стрит. Окна комнат, где прежде обитал Биши, были закрыты, поэтому я поднялся по лестнице и постучал в дверь тросточкой из слоновой кости, что привез из Швейцарии. К двери подошла молодая женщина, державшая у груди младенца. Утративши на миг дар речи, я лишь вперился в нее взглядом.

– Что вам угодно, сэр?

– Мистер Шелли?

– Как вы сказали, сэр?

– Здесь ли мистер Шелли?

– Здесь таких нет.

– Перси Биши Шелли?

– Нет, сэр. Джон Дональдсон. Его жена Амелия – это я. А это Артур. – Она похлопала ребенка свободной рукой.

Должен признаться, я испытал мгновенное облегчение.

– Прошу прощения, миссис Дональдсон. Нельзя ли узнать, давно ли вы тут живете?

– В начале лета приехали, сэр. Мы из Девона.

– До вас тут, полагаю, жил молодой человек. Он мой друг...

– А! Тот юноша. Я и вправду кое-что слышала о нем от мистера Лоусона, что над нами. Станный юноша. До того переменчивый – не правда ли? – Я кивнул. – Он исчез, сэр. Съехал однажды утром. С тех пор его не видали. Коль уж вы зашли... – Она возвратилась в комнаты, так хорошо мне знакомые, и вскоре вышла обратно с небольшим томиком. – Если найдете его, не передадите ли ему вот это?

Она вручила мне книгу, в которой я узнал экземпляр «Лирических баллад». Он часто читал отсюда во время наших вечерних бесед.

– Я ее под диваном нашла, сэр. Упала, должно быть. Нам с мистером Дональдсоном, сэр, она ни к чему.

Я дал ей соверен, который она приняла с многократными возгласами радости. Не зайти ли в поисках новостей о Биши к Дэниелу Уэстбруку в Уайтчепел, подумалось мне. Однако воспоминания о той местности, темной и туманной, заставили меня отказаться от этого плана. Вместо того я решился возвратиться в Оксфорд, где Биши сможет, если пожелает, меня найти. Комнаты свои на Джермин-стрит я тем не менее оставил за собой, чтобы было где укрыться от тихой университетской жизни.

Флоренс, моя служанка в колледже, приветствовала меня наверху лестницы удивленным восклицанием:

– Ах, мистер Франкенлайм, мы уж совсем было за вас отчаялись!

– Никогда не следует отчаиваться, Флоренс.

– А тут старший привратник говорит, мол, вы назад собрались. Вот я и прибралась тут хорошенько. – Она показала рукой на мои комнаты. – Все как нельзя лучше, вот увидите.

– Рад это слышать.

Я прошел мимо нее и, открывши дверь, с облегчением увидел, что багаж мой висится кучей в углу.

Так я снова вступил в ежедневный круг богослужений, обедов и приятелей, студентов колледжа. Место это по природе своей было таково, что стоило мне обжиться в моих комнатах,

и я тотчас почувствовал, как возвращаюсь к своей былой жизни. Я стал искать общества Хорэса Лэнга, знакомого с Биши еще до моего приезда в Оксфорд; теперь мы вместе прогуливались по Темзе в сторону Бинси или же в сторону Годстоу и обсуждали нашего поэта. С тех пор как Биши пришлось покинуть колледж, Лэнг не получал от него никаких известий, и я просветил его относительно наших радикальных сборищ в Лондоне. Весть о скором прибытии мистера Кольриджа, которому предстояло читать лекции в Уэлш-холле на Корнмаркет-стрит, мы встретили не без радостного возбуждения. Я, разумеется, уже знаком был с его поэзией, отчасти по «Лирическим балладам», отчасти в результате собственных моих изысканий в сфере современной политической и экономической науки. Начав читать его эссе в «Друге», я сразу проникся величайшим уважением к его интеллектуальным способностям и – не менее того – к гибкости его ума, которому, казалось, подвластны любые вершины.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.